### Ю. Айхенвальдъ

### СПОРЪ

0

# БЪЛИНСКОМЪ

ОТВЪТЪ КРИТИКАМЪ

#### ю. Айхенвальдъ

## СПОРЪ ° Б Б Л И Н С К О М Ъ

ОТВЪТЪ КРИТИКАМЪ

NO KHALO.M. A A.O. FORGERYSHIO

Мой очеркъ о Бълинскомъ («Силуэты русскихъ писателей», вып. III, изд. второе) вызвалъ очень ръзкіе возраженія и протесты. И поскольку они составляють проявленіе оскорбленной любви къ Бълинскому, я ихъ понимаю, цъню, и мнъ самому грустно и тяжело, что своей отрицательной характеристикой знаменитаго критика я сдълалъ больно искреннимъ почитателямъ его памяти. Но, разумъется, иначе поступить я не могъ, потому что обязанъ былъ сказать свою правду, чего бы это ни стоило мнъ, чего бы это ни стоило другимъ.

Однако, въ томъ возмущении, какое встрътилъ мой силуэтъ, большую роль сыграли также непомърный консерватизмъ и слишкомъ почтительное отношение къ авторитетамъ-то «литературное идолопоклонство», съ которымъ боролся когда-тооказывается, не вполнъ успъшно-самъ Бълинскій и о которомъ онъ такъ хорошо говорить въ своихъ «Литературныхъ мечтаніяхъ»: «...Мы и въ литературѣ высоко чтимъ табель о рангахъ... Говоря о знаменитомъ писателъ, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами: сказать о немъ ръзкую правду, у насъ-святотатство. И добро бы еще это было вслъдствіе убъжденія! Нъть, это просто изъ нелъпаго и вреднаго приличія или изъ боязни прослыть выскочкою, романтикомъ... Знаете ли, что наиболъе вредило, вредить и, какъ кажется, еще долго будеть вредить распространенію на Руси основательныхъ понятій о литературѣ и усовершенствованій вкуса? Литературное идолопоклонство! Дѣти, мы все еще молимся и поклоняемся многочисленнымъ богамъ нашего многолюднаго Олимпа и нимало не заботчися о томъ, чтобы справляться почаще съ метриками, дабы узнать, точно ли небеснаго происхожденія предметы нашего обожанія».

Дъйствительно, уже первый откликъ на мою статью, фельетонъ П. Н. Сакулина въ Русскихъ Въдомостяхъ («Бълинскій—миоъ», отъ 3 окт. 1913 г.) содержитъ въ себъ прямое запрещеніе спорить о Бълинскомъ и относиться какъ-нибудь иначе къ нему, чъмъ благоговъйно. «Его (Бълинскаго) мъсто давно уже опредълено нелицепріятнымъ судомъ исторіи; его имя—свято. Давно уже Бълинскій находится за чертой досягаемости. Все, что можно было сказать въ хулу Бълинскому, уже сказано гораздо ранъе г. Айхенвальда. Развънчать Бълинскаго нельзя»: вотъ что заявляетъ уважаемый авторъ.

Слишкомъ понятно, какъ въ устахъ ученаго странны, опасны и нелиберальны эти душныя слова. Въдь для науки нътъ никого святого, наука не канонизируетъ, и заколдованнымъ кругомъ, «чертой досягаемости», она изъ своихъ предметовъ не обводить ничего. Если считать Бълинскаго иконой, святымъ, и если думать, что исторія сказала о немъ последнее, окончательное слово (хотя у науки послъднихъ словъ не бываеть), то въ такомъ случав, но только въ такомъ, я въ самомъ дълъ виноватъ уже тъмъ, что ръшился посмотръть на него собственными глазами. Если Бълинскому можно лишь молиться («его имя свято», или, какъ до П. Н. Сакулина сказалъ Некрасовъ: «учитель, передъ именемъ твоимъ позволь смиренно преклонить кол'вни»), то о немъ вообще нельзя и разговаривать; и въ такомъ случат, но только въ такомъ, г. Сакулинъ, со своей религіозной точки зръпія, правъ, если моя характеристика для него не характеристика, а «хула», если моя статья для него не статья, а «поступокъ» (да еще «нев'вроятный»), если я не просто свое мнъніе высказалъ, а «осмълился посягнуть» на тънь прославленнаго критика, если я всъмъ этимъ возбудилъ его «моральное негодованіе».

Правда, П. Н. Сакулинъ въ только что появившейся второй стать в своей «Психологія Бълинскаго» (Голосъ минувшаго,

IV, 1914 г.) говорить, что онь «позволиль себъ» употребить слова, которыя я выше подчеркнуль, —въ иномъ смыслѣ, именно въ томъ, что хотя «можно и даже должно продолжать изученіе» Бѣлинскаго, «но въ основномъ исторія уже произнесла свой приговоръ о немъ»; и объявлять, будто Бѣлинскій — легенда, низводить его «на степень мелкой душонки и плохого журналиста» (квалификація не моя) такъ же странно, какъ нелѣпо было бы «сводить къ нулю Ломоносова или Пушкина». Изъ этой поправки видно, что въ первый разъ П. Н. Сакулинъ свою подлинную мысль выразилъ очень дурно, — совершенно не тѣми словами. Кромѣ того, въ Голосъ минувшаго онъ не объяснилъ, какъ же надо въ Русскихъ Въдомостяхъ понимать «хулу», «невѣроятный поступокъ», «осмѣлился посягнутъ», «моральное негодованіе»: этихъ выраженій своихъ г. Сакулинъ и не истолковалъ, и не взялъ обратно.

Н. Л. Бродскій въ стать «Развънчанъ ли Бълинскій»? (Въстникъ Воспитанія, І, 1914) тоже называетъ мои обвиненія послъдняго «кощунственными», точно Бълинскій—Богъ или божественъ.

Свободу изслѣдованія почти всѣ оппоненты мои ограничивають и тѣмъ, что мои взгляды на Бѣлинскаго пытаются опорочить ссылкой на авторитеты, т. е. на тѣхъ, по большей части, выдающихся и знаменитыхъ людей, которые Бѣлинскаго прославляли. Такъ, П. Н. Сакулинъ напоминаеть, что славу нашего критика творили Станкевичъ, Герценъ, Тургеневъ, Кавелинъ, кн. В. Ө. Одоевскій, Некрасовъ, Ап. Григорьевъ и мн. др.: «все это—люди, которыхъ изъ десятка не выкинешъ»; въ опроверженіе моей мысли объ умственной несамостоятельности Бѣлинскаго онъ, между прочимъ, апеллируетъ даже и къ школьному учителю его, М. М. Попову, и къ «постороннему наблюдателю», Лажечникову, которыхъ «еще въ дѣтствѣ поражалъ» Бѣлинскій «упорной самостоятельностью характера, стойкостью и критической настроенностью своего ума». Такъ, г. Евг. Ляцкій въ статъѣ «Господинъ Айхенвальдъ около Бѣ-

линскаго» (Современникъ, I, 1914) сообщаеть, что среди людей, пламенно и любовно относившихся къ Бълинскому, «были лица, во всякомъ случат не уступавшія» мнъ «въ критической проницательности и чуткости» (Некрасовъ, Тургеневъ, Герценъ, Гончаровъ), Такъ, Н. Л. Бродскій, хотя и «проходитъ мимо» отмѣченнаго П. Н. Сакулинымъ признанія учителя М. М. Попова, но «проходить мимо» такимъ образомъ, что объ этой педагогической оцівнюю все-таки упоминаеть, а, главное, свое убъждение въ умственной независимости Бълинскаго онъ тоже обосновываеть цитатами изъ Станкевича, Кавелина, Панаева, Клюшникова, Одоевскаго, Тургенева, Бакунина. Правда, г. Бродскій предупреждаеть меня, что онъ это дълаеть не «изъ почтительнаго реверанса передъ авторитетами», а потому, что слова лицъ, непосредственно общавшихся съ Бълинскимъ, «на корню видъвшихъ его», должны звучать для меня гораздо убъдительнъе, чъмъ только его, г. Бродскаго, собственныя слова, его личное мнѣніе, которое-де можеть показаться мнѣ «бездоказательнымъ, «субъективнымъ», пристрастнымъ».

Мнѣ отъ души жалко, что скромность Н. Л. Бродскаго ввела его здѣсь въ глубокое заблужденіе: какъ разъ наоборотъ, малодоказательными для исторіи литературы, субъективными и пристрастными я считаю именно сужденія о Бѣлинскомъ его друзей, собесѣдниковъ и пріятелей, а безпристрастнымъ и не-«субъективнымъ» счелъ бы самостоятельное мнѣніе о немъ г. Бродскаго, который, понятно, съ Бѣлинскимъ лично не былъ знакомъ, а, подобно мнѣ, знаетъ только его писанія и его письма, отчего и можетъ судить о его литературной дѣятельности объективно, «научно», внѣ личной симпатіи или антипатіи.

Третьи лица въ тяжбѣ за Бѣлинскаго вообще ни при чемъ; я ихъ рѣшительно отвожу и на этой позиціи боя не принимаю. Въ своемъ силуэтѣ я не считался съ тѣми, кто Бѣлинскаго хвалитъ, но зато не опирался и на тѣхъ, кто его осуждаетъ; я позволилъ себѣ стать съ Бѣлинскимъ лицомъ къ лицу, безо всякихъ посредниковъ: это—мос право, и митъ всегда хочется пить изъ своего стакана, хотя и маленькаго. Убъжденъ, что въ интересахъ умственной гигіены такъ же точно поступають и мои противники. Вотъ почему не выраженіемъ духовнаго бюрократизма и мъстничества, а только непослъдовательностью съ ихъ стороны я признаю то, что, напримъръ, г. Ляцкій своему отвъту на мою статью даетъ презрительное заглавіе: «Господинъ Айхенвальдъ около Бълинскаго» или что г. Ивановъ-Разумникъ тоже позволяеть себъ дешевое удовольствіе глумленія, трижды играя на сопоставленіи именъ: Виссаріонъ Бълинскій и Юлій Айхенвальдъ.

Прежде чѣмъ меня опровергать, критики моего силуэта устанавливаютъ, что мое пониманіе Бѣлинскаго далеко не ново. «Нѣтъ ни одного новаго факта... Аргументація—самая избитая, которой уже не разъ пользовались разные хулители Бѣлинскаго»—утверждаетъ П. Н. Сакулинъ. Ему вторитъ Н. Л. Бродскій: «Факты, указанные имъ» (т. е. мною), не новы, да и характеристика не блещетъ свѣжестью». «Хоть бы одно новое доказательство, хоть бы одинъ оригинальный аргументъ, хотя бы новое освѣщеніе старыхъ извѣстныхъ фактовъ! Ни того, ни другого, ни третьяго»—огорченно восклицаетъ г. Ивановъ-Разумникъ («Правда или кривда?» въ Завътахъ, XII, 1913 г.).

Въ самомъ дѣлѣ,—новыхъ фактовъ въ моемъ распоряжении не было; да ихъ, впрочемъ, и не могло быть, потому что не открыты были какія-нибудь новыя сочиненія Бѣлинскаго. А если, какъ заявляють мои оппоненты, я не далъ даже новаго освѣщенія старыхъ фактовъ, если я говорю о Бѣлинскомъ нѣчто избитое и несвѣжее, то становится совершенно непонятнымъ,—изъ-за чего же поднять весь этотъ шумъ вокругъ моей статьи, изъ-за чего же излился на меня весь этотъ фіалъ негодованія?

Нъкоторые мои противники сами видять, что здъсь есть какая-то непослъдовательность, и стараются оправдать ее.

Такъ, если мой очеркъ «поразилъ» г. Бродскаго, то потому, что «слишкомъ неожиданно было увидъть г. Айхенвальда среди раболъпствующихъ публицистовъ, отступниковъ или людей, ослъпленныхъ партійной страстью, не могшихъ понять, на кого неслись ихъ хулы».

Это замѣчаніе, въ свою очередь, поражаетъ меня: въ своей рецензіи Н. Л. Бродскій, не только за мой силуэтъ Бѣлинскаго, но и за мои писанія вообще, даетъ мнѣ, какъ литератору, такую уничтожающую характеристику, такъ черно рисуетъ мой нравственный авторскій обликъ, такъ неумолимо отказываетъ мнѣ даже въ писательской честности и чувствъ общественности, и чувствъ правды, что лишь въ силу противорѣчія съ самимъ собою могъ онъ изумиться, увидѣвъ меня въ дурномъ обществъ.

Г. Ивановъ-Разумникъ тоже, поговоривъ о моей статъъ, потомъ спрашиваетъ себя, стоило ли о ней вообще говорить. На свой вопросъ онъ отвъчаетъ утвердительно: «Стоило, и по многимъ причинамъ. Главная изънихъ, какъ это ни странно, та, что широкая масса «читающей публики» знаетъ и Бълинскаго и вообще нашихъ классиковъ только по наслышкъ и по школьнымъ воспоминаніямъ... Вотъ почему и статъя г. Ю. Айхенвальда можетъ для нихъ (для широкихъ читающихъ круговъ) оказаться вполнъ по плечу: субъективныя «импрессіи» этого критика, который терпътъ не можетъ Бълинскаго, по-кажутся этимъ читателямъ объективной истиной».

Съ этимъ я согласенъ: не многіе знаютъ Бѣлинскаго,—даже не всѣ изъ его защитниковъ (я не говорю о спеціалистахъ по исторіи литературы). И г. Ивановъ-Разумникъ вполнѣ правъ, если, думая, что моя характеристика знаменитаго критика инымъ покажется объективной истипой, какъ разъ поэтому («главная причина») не замалчиваеть ея, а разрушаетъ.

Мои оппоненты вообще правы въ томъ, что взглядъ мой на Бълинскаго вовсе не представляетъ въ нашей литературъ какой-то новости, какой-то неслыханной ереси (на это, впро-

чемъ, я въ данномъ случаѣ, какъ и въ остальныхъ, даже и не притязалъ: меня никогда не интересуетъ, новы ли мои воззрѣнія или нѣтъ,—были бы вѣрны). Нехорошо только то, что мои противники, хотя и непреднамѣренно, вызываютъ у несвѣдущихъ читателей такое представленіе, будто о Бѣлинскомъ дурно отзывались одни лишь дурные — обскуранты, «раболѣпствующіе публицисты, отступники», «ослѣпленные партійной страстью», «Шевыревъ, Булгаринъ, Погодинъ и компанія», тѣ, которые, по неизящному выраженію г. Иванова-Разумника, «много лѣтъ подрядъ жевали старую жвачку о «недоучившемся студентъ» 1).

На это я скажу: во-первыхъ, ни Шевырева, ни Погодина, ни Полевого я къ обскурантамъ и отступникамъ не причисляю; во-вторыхъ, среди отрицателей Бълинскаго есть люди, которыхъ къ темному стану Россіи не припишутъ и мои критики.

И прежде всего я назову два великихъ имени: Толстой и Достоевскій.

«Ну, какія мысли у Бѣлинскаго!—пренебрежительно заявилъ Толстой въ 1903 году сотруднику «Южнаго Телеграфа»: сколько я ни брался, всегда скучалъ, такъ до сихъ поръ и не прочелъ» («Книжный Вѣстникъ» 1903 г. № 3) ²).

Въ книгъ В. Лазурскаго «Воспоминанія о Л. Н. Толстомъ» на стр. 37 воспроизводится такой отзывъ Толстого: «Бълинскій—болтунъ; все у него такъ незръло. Правда, у него есть и хорошія мъста; онъ—способный мальчикъ... Но если Бълинскаго и другихъ русскихъ критиковъ перевести на иностранные языки, то иностранцы не станутъ читать: такъ все это элементарно и скучно».

<sup>1)</sup> Только П. Н. Сакулинъ (и только во второй своей статьъ) приводить въ краткихъ выдержкахъ немногіе образцы отрицательныхъ сужденій о Бълинскомъ—то, что въ нъкоторыхъ случаяхъ онъ называетъ «дерзкими вылазками».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Эту цитату, какъ и ту дальнъйшую, которая относится къ Ю. Самарину, я беру изъ книги С. Ашевскаго «Бълинскій въ оцънкъ его современниковъ», стрр. 318, 64—66.

Я сознаюсь: тягостно какъ-то цитировать извъстныя письма Достоевскаго къ Страхову (1871 г.), но мои критики вынуждають меня къ этому; да и въ интересахъ дъла — напомнить то миъніе Достоевскаго о Бълинскомъ, которое выражено въ интимной формъ частнаго письма и потому содержить въ себъ наибольшую мъру искренности.

Достоевскій пишеть: «Бѣлинскій (котораго вы до сихъ поръ еще цъните) именно былъ немощенъ и безсиленъ талантишкомъ, а потому и проклялъ Россію и принесъ ей сознательно столько вреда (о Бълинскомъ еще много будетъ сказано впослъдствіи, воть увидите)... Я обругаль Бълинскаго болъе, какъ явленіе русской жизни, нежели лицо. Это было самое смрадное, тупое и позорное явленіе русской жизни. Одно извиненіе - въ неизбъжности этого явленія... Вы никогда его не знали, а я зналъ и видълъ и теперь осмыслиль вполнъ... Онъ былъ доволенъ собой въ высшей степени, и это была уже личная смрадная, позорная тупость. - Вы говорите, онъ быль талантливъ. Совствит иттъ, и, Боже! какъ навралъ о немъ въ своей статьъ Григорьевъ! Я помню мое юношеское удивленіе, когда я прислушивался къ нъкоторымъ чисто-художественнымъ его сужденіямъ (наприм., о «Мертв. душахъ»); онъ до безобразія поверхностно и съ пренебреженіемъ относился къ типамъ Гоголя и только разъ былъ до восторга, что Гоголь обличиль. Здёсь, въ эти 4 года, я перечиталь его критики. Онъ обругалъ Пушкина, когда тотъ бросилъ свою фальшивую ноту и явился съ повъстями Бълкина и съ Арапомъ. Онъ съ удивленіемъ провозгласилъ ничтожество повъстей Бълкина. Онъ въ повъсти Гоголя Коляска не находилъ художественнаго цъльнаго созданія и повъсти, а только шуточный разсказъ. Онъ отрекся отъ окончанія «Евгенія Онъгина». Онъ первый выпустилъ мысль о камеръ-юнкерствъ Пушкина. Онъ сказалъ, что Тургеневъ не будеть художникомъ, а между тъмъ это сказано по прочтеніи чрезвычайно значительнаго разсказа Тургенева «Три портрета». Я бы могь вамъ набрать такихъ прим'вровъ сколько угодно, для доказательства неправды его

критическаго чутья и «воспріимчиваго трепета», о которомъ вралъ Григорьевъ (потому что самъ былъ поэтъ). О Бълинскомъ и о многихъ явленіяхъ нащей жизни судимъ мы до сихъ поръ еще сквозь множество чрезвычайныхъ предразсудковъ».

Я не върю, чтобы кн. Вяземскій, другь Пушкина, писатель яркаго ума, талантливый, въ сужденіяхъ независимый и оригинальный, не былъ искрененъ и руководился литературными или партійными счетами, когда такъ послъдовательно отвергалъ Бълинскаго и не находилъ въ себъ терпънія «дочитывать до конца ни одной изъ его ужасно-длинно-много-пустословныхъ статей». Въ свою записную книжку онъ вносить такія строки: «Есть у насъ грамотъи, которые печатно наются за геніальность Бълинскаго. Н'втъ повода сомн'вваться въ добросовъстности ихъ, а еще менъе заподозръвать ихъ смиренномудріє; стараться же вразумить ихъ и входить съ ними въ преніе - дъло лишнее; имъ и книги въ руки, т. е. книги Бълинскаго. Бълинскій здісь вь стороні; онъ умерь и успокоился отъ тревожной, а можетъ быть и трудной жизни своей. Онъ служилълиттературъ, какъ могъ и какъ умълъ. Не онъ виновать въ славъ своей, и не ему за нее отвътствовать. Глядя на посмертныхъ почитателей его, нельзя не задать себъ вопроса, до какихъ безконечно-малыхъ крупинокъ должны снисходить умственныя способности этихъ господъ, которые становятся на ципочкахъ и карабкаются на подмостки, чтобы съ благоговъніемъ приложиться къ кумиру, изумляющему ихъ своею величавою высотою» (Полное собраніе сочин. кн. П. А. Вяземскаго, VIII, 139). По поводу воспоминаній о Бълинскомъ Тургенева пишетъ кн. Вяземскій Погодину: «Оставимъ Тургеневу превозносить Бълинскаго, идеалиста въ лучшемъ смысль слова, какъ онъ говоритъ... Приверженецъ и поклонникъ Бълинскаго въ глазахъ моихъ человъкъ отпътый, и просто сказать пътый дуракъ... Тургеневъ просто хотълъ задобрить современныя предержащія власти журнальныя и литтературныя. Въ статъв его есть отсутствіе ума и нравственнаго

достоинства. Жаль только, что это напечатано въ «Въстникъ Европы» (X, 265).

Благородный Юрій Самаринъ даеть сл'єдующую удивительно мъткую характеристику Бълинскаго, — и прекрасный, учтивый тонъ ея еще больше оттъняется послъдовавшимъ на нее грубымъ отвътомъ нашего критика. Бълинскій, по Самарину. «почти никогда не является самимъ собою и рѣдко пишетъ по свободному внушенію. Вовсе не чуждый эстетическаго чувства (чему доказательствомъ служатъ особенно прежнія статьи его), онъ какъ будто пренебрегаетъ имъ и, обладая собственнымъ капиталомь, живеть въ долгъ. Съ тъхъ поръ какъ онъ явился на поприщѣ критики, онъ былъ всегда подъ вліяніемъ чужой мысли. Несчастная воспріимчивость, способность понимать легко и поверхностно, отрекаться скоро и ръшительно отъ вчерашняго образа мыслей, увлекаться новизною и доводить ее до крайностей, держала его въ какой-то постоянной тревогь, которая наконецъ обратилась въ нормальное состояние и помѣшала развитію его способностей. Конечно, заимствованіе само по себъ не только безвредно, даже необходимо; бъда въ томъ, что заимствованная мысль, какъ бы искренно и страстно онъ ни предавался ей, все-таки остается для него чужою: онъ не успъваеть претворить ее въ свое достояніе, усвоить себъ глубоко, и къ несчастью усваиваетъ настолько, что не имъетъ надобности мыслить самостоятельно. Этимъ объясняется необыкновенная легкость, съ которою онъ мѣняеть свои точки зрънія и мъняеть безплодно для самого себя, потому что причина перемънъ - не въ немъ, а внъ его. Этимъ же объясняется его исключительность и отсутствіе терпимости противоположнымъ ми'вніямъ; ибо кто принимаетъ мысль на въру, легко и безъ борьбы, тотъ думаетъ такъ же легко навязать ее другимъ, и ръдко признаетъ въ нихъ разумность сопротивленія, котораго не находить въ себъ. Наконець, въ въ этой же способности увлекаться чужимъ заключается объясненіе его необыкновенной плодовитости. Собственный запасъ убъжденій вырабатывается медленно, но когда этотъ запасъ

берется уже подготовленный другими, въ немъ никогда не можетъ быть недостатка. Разумъется, при такого рода дъятельности, талантъ писателя не можетъ возрастать».

Тоть же Юрій Самаринъ на высокую оцънку Бълинскаго Герценомъ отозвался словами пушкинскаго Донъ-Жуана передъ статуей Командора: «Какія плечи! что за Геркулесъ! А самъ покойникъ малъ былъ и тщедушенъ!»

Да, правъ Самаринъ: всегда памятники больше покойниковъ...

Можно было бы еще много процитировать отрицательныхъ мнѣній о Бѣлинскомъ, произнесенныхъ умными и чистыми людьми, видными дѣятелями русской культуры.

Насколько своимъ силуэтомъ я не сказалъ о Бълинскомъ чего-то неслыханно дерзостнаго и для спеціалистовъ неожиданнаго, легко усмотръть и изъ того, что незадолго до моей статьи, въ 1912 году, появилась въ Н.-Новгородъ книжка П. И. Вишневскаго: «Н. В. Гоголь и В. Г. Бълинскій», гдъ отведены послъднему вполнъ осуждающія страницы и дъятельность его охарактеризована какъ «сплетеніе лжи, краснобайства и фразерства» (стр. 139). Правда, у большинства рецензентовъ книжка г. Вишневскаго встрътила пренебреженіе; но это еще не говоритъ противъ нея.

Всъ эти чужія слова я привожу совсъмъ не въ подтвержденіе своихъ (какъ я уже сказалъ, мнъ чужого не надо), а въ опроверженіе той мысли моихъ оппонентовъ, будто отрицаніе Вълинскаго является признакомъ раболъпствующаго обскурантизма и отжило свой въкъ.

Иныхъ критиковъ моихъ, напримъръ—г. Ч. В—скаго (Въстникъ Европы, XII, 1913 г.), особенно поразило то, что я не вижу въ Бълинскомъ, какъ я выразился, «органическаго либерализма, тъхъ предчувствій и влюбленныхъ чаяній свободы, которыя такъ обязательны для высокой души, и особенно для души молодой». П. Н. Сакулинъ по этому поводу изумляется, что

твержденіе своего взгляда онъ цитируетъ самого Бълинскаго — изъ того же письма къ Гоголю: «у насъ въ особенности награждается общимъ вниманіемъ всякое, такъ называемое, либеральное направленіе, даже и при бъдности таланта», и «скоро падаетъ популярность великихъ талантовъ, искренно или неискренно отдающихъ себя въ услуженіе православію, самодержавію и народности». «И публика тутъ права» (я нъсколько продолжаю сдъланную П. Н. Сакулинымъ цитату)... «всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не проститъ ему зловредной книги. Это показываетъ, сколько лежитъ въ нашемъ обществъ, хотя еще въ зародышъ, свъжаго, здороваго чутья, и это же показываетъ, что у него есть будущность».

Я только считаю гибельной ошибкой со стороны Бѣлинскаго, что этому явленію онъ сочувствуеть, а не вооружаєтся противъ него всей душою. Ибо тяжкіе удары нашей культурѣ нанесъ и наноситъ этотъ хорошо подмѣченный и, къ несчастью, привѣтствуемый Бѣлинскимъ фактъ; ибо нѣтъ большаго грѣха противъ идеальныхъ цѣнностей, чѣмъ такое вопіющее искаженіе оцѣнокъ, такое униженіе таланта, такая подмѣна эстетики публицистикой; ибо до сихъ поръ страдаетъ наша мысль отъ этой духовной фальсификаціи. И то, что Бѣлинскій не былъ либераломъ въ истинномъ смыслѣ слова, т. е. что у него не было широты духа и настоящей духовной свободы, — это я утверждаю между прочимъ и на основаніи какъ разъ той цитаты, которую, въ невольный ущербъ Бѣлинскому, привелъ П. Н. Сакулинъ.

И какъ одну изъ типичныхъ иллюстрацій того рокового недоразумънія, которое, въ его фактической сути, замътили В. Г. Бълипскій и П. Н. Сакулинъ и укръпленію котораго первый необычайно способствовалъ своимъ примъромъ, — я выпишу сужденіе г. Евг. Ляцкаго изъ его статьи противъ меня: «Хотя я далеко не связываю поклоненія г. Айхенвальда идеалу чистаго искусства съ равнодушіемъ къ той общественной атмосферъ, среди которой этотъ культъ является какъ бы

синонимомъ удаленія отъ шума житейской борьбы на горныя вершины созерцанія и воздыханія, тѣмъ не менѣе я беру на себя смѣлость утверждать, что между отрицаніемъ трієдиной формулы у г. Айхенвальда и непріємлемостью для него «публицистическихъ» стремленій Бѣлинскаго есть нѣчто необъяснимое, недоказанное, быть можеть, даже... нѣчто недодуманное».

Дъйствительно, здъсь есть недодуманность, - но, кажется, не съ моей стороны. Если я отрицаю «тріединую формулу», то я обязанъ принять публицистическое отношение Б'влинскаго къ искусству: вотъ та умственная узость, которой хотълъ бы отъ меня г. Ляцкій; ея отсутствіе - воть что кажется ему чъмъ-то необъяснимымъ и недодуманнымъ. Что можно исповъдовать политическій либерализмъ и въ то же время не требовать и не хотъть отъ искусства публицистики, этого не допускаеть г. Ляцкій. Что между равнодушіемь къ общественности и любовью къ «идеалу чистаго искусства» (точно есть какое-нибудь другое) не существуеть внутренней и необходимой связи, - эта азбука и до сихъ поръ остается недоступной для обитателей идейной тесноты. И такъ какъ я безусловно не причисляю къ нимъ Е. А. Ляцкаго, то я и удивляюсь, какъ это онъ «беретъ на себя смѣлость» утверждать то, что утверждаетъ.

Мои оппоненты страстно оспаривають и то мое указаніе, что Б'влинскій не быль посл'вдовательно либералень не только въ томъ широкомъ смысл'в, о которомъ я говориль выше, но и въ спеціальной сфер'в общественности. На мои слова: «вопреки молодости, нарушая ея психологическіе нравы, онъ не съ протеста, не съ отрицанія началь, а съ политическихъ утвержденій»... и на другія мои слова: «при первомъ же своемъ серьезномъ выступленіи, въ знаменитыхъ «Литературныхъ мечтаніяхъ»,.. въ тяжелую и темную пору нашей жизни... юноша-Б'ълинскій, не задумываясь, д'ъластся рапсодомъ» уваровской формулы, «знаменитыхъ сановниковъ», «просв'вщеннаго и благод'втельнаго правительства», — на это

вст критики, кромт г. Ляцкаго, въ одинъ голосъ и прежде всего отзываются, что я забылъ про «Дмитрія Калинина» (П. Н. Сакулинъ употребляетъ даже такое выраженіе, что я объ этой драмть и «не заикаюсь»). Н. Л. Бродскій называетъ пьесу Бтынскаго «пламеннымъ памфлетомъ противъ «офиціальной» дъйствительности»; г. Ивановъ-Разумникъ находитъ, что въ «Дмитріи Калининт» Бтынскій выражаетъ «самые «протестующіе» взгляды»; критикъ Русскаго Богатства (П, 1914 г.) г. А. Дерманъ мою мысль, что Бтынскій началъ съ политическихъ утвержденій, тоже опровергаетъ ссылкой на его трагедію и категорически освъдомляетъ, что она «послужила причиной увольненія автора изъ университета».

Мнѣ неизвъстно, является ли по своей научной спеціальности историкомъ литературы г. Дерманъ; если—нѣтъ, то вполнѣ простительно, что онъ не читалъ или не запомнилъ такого ничтожнаго литературнаго памятника, какъ «Дмитрій Калининъ», и съ чужого голоса передаетъ мивъ о причинѣ увольненія Бѣлинскаго изъ университета. Но мнѣ хорошо извъстно, что какъ историки питературы достойно работаютъ у насъ въ наукѣ П. Н. Сакулинъ, Ивановъ-Разумникъ, Ч. В—скій, Н. Л. Бродскій. И поэтому то, что они опираются въ данномъ случаѣ на «Дмитрія Калинина», удивляетъ меня и огорчаєтъ несказанно. Разберемся.

Н. Л. Бродскій полагаєть, будто упрекь въ неупоминаніи «Дмитрія Калинина» я, быть можеть, попытаюсь отразить ссылкой на то, что не имъль въ виду чисто-литературныхъ произведеній Бълинскаго, а говориль о немъ, лишь какъ о критикъ. Этотъ мой возможный аргументъ, по г. Бродскому, отпадаетъ, такъ какъ въ своемъ силуэтъ я касался-де Бълинскаго цъликомъ, — да такъ и надо дълать: въдь не писалъ же я самъ «только о стихотвореніяхъ Тютчева — указывалъ и на политическія статьи его» (мимоходомъ исправлю фактическую ошибку моего рецензента: я не указывалъ на политическія статьи Тютчева, а разбираль только стихотворенія его, — между прочимъ, и политическія; такимъ образомъ, я не за-

служилъ здѣсь, чтобы мнѣ ставили въ примѣръ меня самого).

Почтенный критикъ не угадалъ, какъ я буду защищаться. Если бы я хотълъ прибъгнуть подъ сънь формальныхъ доводовъ, я могъ бы опереться на то, что въ статьъ я говорилъ о «политических» утвержденіяхъ», — а вст согласятся, что ужъ во всякомъ случат политическихъ отрицаній въ «Дмитріи Калининъ» нъть; что я говорилъ о «первомъ серьезномъ выступленіи», — а всъ согласятся, что дътскій, ниже литературной критики стоящій, наивный «Дмитрій Қалининъ» не серьезенъ. Но я не прикрою себя этими соображеніями, а напомню, что трагедія Бълинскаго, по существу, по своей идев и по своему центральному содержанію, вовсе не представляеть собою общественнаго протеста. Не въ этомъ смыслъ пьесы, не въ этомъ ея павосъ, не этимъ она вооружила противъ себя цензоровъ. Тамъ есть отдъльныя риторическія филиппики противъ рабства, противъ помъщичьей тираніи, но самая сильная изъ нихъ, слова Дмитрія: «Кто далъ это гибельное правооднимъ людямъ порабощать своей власти волю другихъ, подобныхъ имъ существъ, отнимать у нихъ священное сокровище - свободу? Кто позволилъ имъ ругаться правами природы и человъчества? Господинъ можеть, для потъхи или для разсъянія, содрать шкуру съ своего раба; можеть продать его какъ скота, вымѣнять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь съ отцомъ, съ матерью, съ сестрами, съ братьями, и со встыть, что для него мило и драгоцънно!»... эта горячая отповъдь героя сопровождается и охлаждается слъдующимъ примъчаніемъ Бълинскаго: «Къ славъ и чести нашего мудраго и попечительнаго правительства, подобныя тиранства уже начинають совершенно истребляться. Оно поставляеть для себя священнъйшею обязанностью пещись о счастін каждаго челов'тка, вв'треннаго его отеческому попеченію, не различая ни лиць, ни состояній. Доказательствомъ сего могутъ служить всв его поступки и, между прочимъ, Указъ о наказаніи купчихи Аносовой за тиранское

обхожденіе съ своею дѣвкою и городничаго за допущеніе онаго, напечатанный въ 77-мъ № Московскихъ Вѣдомостей за 1830 годъ, 24 день сентября. Этотъ указъ долженъ быть напечатанъ въ сердцахъ всѣхъ истинныхъ Россіянъ, умѣющихъ цѣнить мудрыя распоряженія своего правительства, напоминающія слова нашего знаменитаго, незабвеннаго Фонъ-Визина: «Гдѣ Государь мыслитъ, гдѣ знаетъ Онъ, въ чемъ его истинная слава — тамъ человѣчеству не могутъ не возвращаться права его; тамъ всѣ скоро ощутять, что каждый долженъ искать своего счастія в выгодъ въ томъ, что законно, и что угнетать рабствомъ себѣ подобныхъ есть беззаконно».

Не только знатокъ, но и богомолецъ Бълинскаго съ его «великимъ сердцемъ», С. А. Венгеровъ, по мосму, совершенно правъ, когда говоритъ объ этомъ примъчаніи, что «было бы величайшей ошибкой» думать, будто оно «есть лукавство и можеть быть приравнено къ тъмъ, мало кого вводившимъ въ заблужденіе, примъчаніямъ», которыя въ 60-хъ годахъ дълали изъ цензурныхъ соображеній. Къ этому прибавляетъ г. Венгеровъ: «Бълинскій во всю свою жизнь не написалъ ни одного лукаваго слова и славословилъ только тогда, когда весь былъ переполненъ славословія». Въ 1831 г., утверждаетъ нашъ комментаторъ, Бълинскій былъ «безконечно «благонамъренъ», ультра-«благонамъренъ», и къ общему строю русскаго государственнаго уклада относился съ полнымъ одобреніемъ» (Сочиненія Бълинскаго, подъ ред. Венгерова, т. I, стр. 129).

Примъчаніе Бълинскаго только подтверждаеть, что центрь идейной тяжести въ «Дмитріи Калининъ» находится вовсе не въ гражданскомъ протестъ. Средоточіе пьесы — кровосмъщеніе. Брать становится любовникомъ сестры (невъдомо для себя). Потомъ онъ убиваетъ своего брата (тоже не зная, кто его жертва). Потомъ онъ убиваетъ свою любовницу-сестру, по ея просьбъ, чтобы ея не выдали замужъ за другого. Потомъ, наконецъ, онъ убиваетъ самого себя. Такъ не этотъ ли отталкивающій сюжетъ, не это ли ужасное кровосмъщеніе и кровопролитіе заставили московскихъ профессоровъ

(тогдашнюю цензуру) признать сочинение мальчика-студента «безнравственнымъ, безчестящимъ университетъ» (такими словами самъ Бѣлинскій формулируеть отзывъ своихъ судей)? И неужели послъднихъ не обезоружило бы примъчание автора къ тирадъ героя; неужели оно, на ряду съ другими штрихами, не показало бы имъ того, что впослъдствіи увидъль историкъ литературы, т. е. что политически студентъ-трагикъ быль «ультра - благонам френь», «безконечно - благонам френь»? И развъ намъ извъстно, чтобы они, эти профессора, были такими завзятыми и злобными кръпостниками, что для нихъ невозможно было простить юношъ того возмущенія тиранствомъ, которое, по его же искреннимъ словамъ, всецъло раздъляло само «мудрое и попечительное правительство»? Къ тому же, нападки противъ дикаго обращенія съ крѣпостными не могли звучать, хотя бы послъ Фонвизина, возмутительной новостью и крамолой.

Бълинскій въ предисловіи къ своей пьесъ ни однимъ словомъ не намекаеть на ея общественный характеръ, и не слышится тамъ даже болье общій протесть — противъ міровой несправедливости, противъ неба и религіи. Нътъ, онъ написалъ свое произведеніе «изъ чистаго, безкорыстнаго побужденія выразить этотъ внутренній міръ самого себя, этотъ міръ собственныхъ мыслей и чувствованій, возбуждаемыхъ въ немъ созерцаніемъ этой чудесной, гармонической, безпредъльной вселенной, въ которой онъ обитаетъ, назначеніемъ, судьбою человъка, сознаніемъ его правственнаго величія».

Эпиграфомъ къ пьесъ авторъ выбираетъ стихи Пушкина: «и всюду страсти роковыя, и отъ судебъ защиты нътъ», — и этимъ тоже отвътственность за несчастья героя опредъленно перелагаетъ съ Россіи на судьбу и роковыя страсти.

Когда Дмитрій, испов'єдуясь своему другу Сурскому, разсказываеть, что онъ овлад'єль Софьей безъ в'єнчанія, такъ какъ не «согласіе родителей» и «пустые обряды», а «одна только природа соединяеть людей узами любви», то Сурскій этимъ глубоко возмущается, признаеть его поступокъ «гнуснымъ», называетъ Калинина «обольстителемъ, нарушителемъ чести», считаетъ его «злодъемъ, подлецомъ (хотя и неумышленнымь)», убъждаеть его, что онъ долженъ быль побороть свою страсть, отказаться отъ Софьи, идти въ военнную службу, «въ коей или палъ бы на полъ брани, какъ слъдуетъ истинному сыну отечества, и вмъстъ съ горестною жизнію окончилъ бы и мученія свои, или бы отличился храбростью, покрыль себя славою, пріобрълъ чины, достоинства и титла, которые столько уважаются всѣми». «Кто тебѣ далъ право — вопрошаетъ Сурскій — назвать Софью своею женою безъ приличныхъ и необходимыхъ для сего обрядовъ»? И что же? Всъ эти благонамфренныя рфчи очень скоро, въ продолжение того же діалога, вполнъ убъждаютъ Дмитрія; онъ отказывается отъ своего пренебреженія къ обрядамь, отъ владъвщаго имъ только что сознанія своей правоты (какъ это характерно для будущаго Бълинскаго!), «Торжествуй: ты правъ! ты правъ! Но для чего ты открываешь мнъ глаза»... восклицаетъ нашъ герой съ открытыми глазами. Точно также, если въ пьесъ прозвучить иногда какъ бы кощунственная нота («А Ты, Существо Всевышиее, скажи миъ: насытилось ли моими страданіями, натъшилось ли моими муками?..»), то и герой въ испугъ и ужасъ перебиваеть самого себя, свою дерзкую ръчь, и туть же кается, и самъ авторъ немедленно принимаетъ свои мъры и къ словамъ, похожимъ на хулу, дълаетъ примъчаніе, искренне защищающее «чистыя струи религіи и нравствености».

Вообще, Бълинскій въ своей трагедін, какъ и во всей своей дальнъйшей литературной дъятельности, каждому яду готовить противоядіе, каждой ръчи—противоръчіе, нейтрализуеть самого себя и вырываеть жало у своихъ отрицаній. Это съ его стороны совсъмъ не умыселъ: это — его мышленіе.

Такимъ образомъ, невинное негодованіе Дмитрія противъ рабства и тираніи, его горячность, его послѣдній кликъ: «свободнымъ жилъ я, свободнымъ и умру»—все это ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть понято въ смыслѣ опредѣленнаго протеста, и если, напримѣръ, г. Бродскій (на 29-ой стр. своей

статьи-брошюры) находить несовмъстимымъ исповъдание формулы: «православіе, самодержавіе и народность» съ содержаніемъ «Дмитрія Калинина», то это-простое недоразумітьніе, которое сейчасъ же разсвется, если «Дмитрія Калинина» прочесть. Скоръе тріединый символь этой въры берется тамъ подъ защиту. Какъ произведение гражданственнаго характера, пьеса Бълинскаго, по меньшей мъръ, безцвътна и безразлична; и показательны въ этомъ отношеніи слова Дмитрія, что Софья «въ одно и то же время трепетала при имени Брута, какъ великаго мученика свободы, какъ добродътельнаго самоубійцы, и при имени Сусанина, запечатлъвшаго своею кровію върность царю»; а Софья, въ свою очередь, говорить, что лицо Дмитрія пылало и глаза его сверкали, когда онъ читалъ о защитникахъ свободы и о Сусанинъ, который «жертвовалъ за царя своею жизнью». Того, кто писалъ такія строки, профессорская цензура обвинить въ политической неблагонадежности не могла, и я повторяю, что въ пьесъ юноши должны были цензоровъ смутить и возмутить совсъмъ другіе мотивы, именно-ть, которые были признаны безнравственными; и поскольку тему о нечаянномъ, правда, кровосмъщении брата и сестры можно считать безнравственной, постольку цензора были правы.

Такъ вотъ—причины, по которымъ я при оцънкъ общественности Бълинскаго счелъ возможнымъ не принимать въ разсчетъ «Дмитрія Калинина», гдъ объ чаши гражданственныхъ въсовъ приведены въ равновъсіе.

Да и гдѣ же, наконецъ, объективныя основанія, которыя позволяли бы утверждать, какъ это дѣлаютъ гг. Дерманъ и Ивановъ-Разумникъ, что Бѣлинскій былъ уволенъ изъ университета за свою пьесу, что онъ «поплатился» за нее? Вѣдь самъ Бѣлинскій пишетъ свонмъ родителямъ, что хотя о «Дмитріи Калининѣ» «составили журналъ, но послѣ это дѣло уничтожено» и ректоръ сказалъ ему, бѣдному автору, что о немъ «ежемѣсячно будутъ ему подаваться особенныя донесенія». Дъло уничтожено. Въ письмѣ къ матери такъ о своемъ уволь-

неніи сообщаєть нашь юный трагикъ: «я не буду говорить вамъ о причинахъ моего выключенія изъ университета: отчасти собственные промахи и нерад'вніе, а бол'ве всего долговременная бол'взнь и подлость одного толстаго превосходительства». Впосл'вдствіи, въ письмахъ къ разнымъ корреспондентамъ, Б'влинскій гоже ни разу, говоря о своемъ увольненіи, не ссылается на «Дмитрія Калинина», какъ на причину университетской катастрофы: «а я такъ и просто былъ выгнанъ изъ университета за л'вность и неусп'вхи» (Б'влинскій, Письма, 1914 г., 1, стр. 87); «выгнанный изъ университета за л'вность студентъ» (Письма, 1, стр. 345).

Инспекторъ и профессоръ Московскаго Университета Щепкинъ, котораго мы не имъемъ права подозръвать въ недобросовъстности, доносить помощнику попечителя, «представляеть во вниманіе его превосходительства», что «Бълинскій, самъ чувствуя свое безсиліе для продолженія наукъ, просиль, въ 1831 году, уволить его отъ университета и опредълить въ канцелярскіе служители», но что сл'вдовало бы, не исполняя этой просьбы, совсъмъ «уволить его отъ университета по слабому здоровью и притомъ по ограниченности способностей». Если бы у Щепкина были другія основанія, если бы онъ имълъ въ виду неблагонамъренность Бълинскаго, проявленную имъ будто бы въ «Дмитріи Калининъ», то изъ-за чего же инспекторъ объ этомъ умолчалъ бы и что же помѣшало бы ему въ офиціальной и, въроятно, конфиденціальной бумагъ поддержать свое ходатайство объ увольнении студента ссылкой на его политическую неблагонамъренность, «представить о семъ во вниманіе его превосходительства»? Развъ такого рода аргументы не являются для ихъ превосходительствъ самыми убъдительными и ръшающими?

Правда, А. Н. Пыпинъ свидътельствуетъ, что по всъмъ отзывамъ, какіе ему приходилось читать и слышать, трагедія сыграла свою «положительную роль въ исключеніи Бълинскаго изъ университета».

Такимъ образомъ, самое большое, что можетъ иной пред-

положить, только предположить, это—что, по слухамь, «Дмитрій Калининъ» извъстную роль въ увольненіи Бълипскаго сыгралъ. Но какъ это далеко отъ категоричности гг. Дермана и Иванова-Разумника! И я лично, пока мнъ не представятъ фактовъ, что причина или что даже одна изъ причинъ увольненія Бълинскаго—«Дмитрій Калининъ», имъю право въ это не върить, и этимъ правомъ я пользуюсь.

Я такъ задержался на вопросѣ о «Дмитріи Қалининѣ» не только ради необходимой самообороны, но и для того, чтобы на этомъ примѣрѣ показать, какъ неосновательно приписывають Бѣлинскому «самые «протестующіе» взгляды» (выраженіе г. Иванова-Разумника), какъ неточно разсказывають его біографію и какъ вообще созидается то, что я назвалъ легендой о Бѣлинскомъ.

Въ подтвержденіе своего взгляда, что либерализмъ Бълинскаго, какъ и все его міровоззрѣніе, отличается большой неустойчивостью, я между прочимъ указалъ на ту его страницу (отзывъ о IV книгѣ «Сельскаго Чтенія»), гдѣ онъ, послъ знаменитаго письма къ Гоголю, въ 1848 году, опять славитъ «благотворное» вліяніе «просвѣщеннаго» русскаго правительства и «въ отношеніи къ внутреннему развитію Россіи» считаетъ царствованіе своего государя «самымъ замѣчательнымъ послѣ царствованія Петра Великаго».

Г. Евг. Ляцкій фактически-невърно утверждаетъ, будто я свое мнъніе о сочувственной поддержкъ Бълинскимъ русскаго шовинизма и офиціальныхъ каноновъ обосновываю на этой «одной фразъ», «придравшись» къ ней: здъсь мой рецензентъ просто невнимательно прочиталъ меня; и оттого, поблагодаривъ г. Ляцкаго за выраженную имъ увъренность, что я только «не разобрался» въ «эзоповскомъ» стилъ Бълинскаго, а не допустилъ «завъдомой подмъны одного пониманія другимъ»,—поблагодаривъ его за этотъ великодушный отказъ отъ обвиненія меня въ подлогъ, я въ данномъ пунктъ спорить

съ нимъ не буду, а выясню намъченный вопросъ по рецензіямъ гг. Ч. В—скаго и Бродскаго. Впрочемъ, и г. Бродскій не прибавляетъ ничего новаго сравнительно съ тъмъ, что говоритъ объ этомъ г. В—скій, и оттого я позволю себъ ограничиться отвътомъ только послъднему.

- А г. Ч. В-скій говорить, что моя ссылка на приведенныя слова Бълинскаго-«злостный попрекъ» и что, въ противность моему «ядовитому подчеркиванію», «пикакого этическаго противор'вчія» между письмомъ къ Гоголю и отзывомъ о «Сельскомъ Чтеніи» нѣть. По существу г. Ч. В-скій выясняетъ, что поразившія меня слова Бълинскаго получають въ контекстъ его статьи иной характеръ; они вызваны-де слухами о предстоявшемъ освобожденіи крестьянъ, о знакахъ вниманія со стороны Николая І министру государственныхъ имуществъ гр. Киселеву, сторопнику эмансипаціи, и написаны, повидимому, какъ и весь отзывъ, «лишь ради радостнаго намека» на ожидавщуюся реформу. А если бы не такъ, то, очевидно, г. Ч. В-скій согласился бы со мною въ оцънкъ этихъ строкъ Бълинскаго: въдь мой оппонентъ и самъ замъчаеть, что «послъ революціоннаго, если угодно, письма къ Гоголю» прославление въ печати самодержавія было бы непослѣдовательно: «подумаешь, дѣйствительно, какая отгалкивающая неустойчивость!»
- Г. Ч. В—скій защищаєть Бѣлинскаго оть того, въ чемъ я даже его не обвиняль, и потому бьеть мимо цѣли. Я ни словомъ, ни намекомъ, ни попрекомъ не указывалъ на этическое противорѣчіе между письмомъ къ Гоголю и рецензіей на «Сельское Чтеніе»; къ яду, ироніи, злости и прочимъ страстямъ вовсе я и не долженъ былъ прибѣгать для выраженія той простой и прямой мысли, какую я высказалъ. А высказалъ я то, что Бѣлинскій свои прежніе охрапительные мотивы смѣнилъ затѣмъ, особенно въ письмѣ къ Гоголю, совершенно другими звуками, «страстной лирикой трибуна», но что ни въ какомъ случаѣ нельзя поручиться, чтобы она была у него окончательной, и недаромъ уже послѣ этой лирики

онъ опять славилъ «благотворное» вліяніе «просвъщеннаго» русскаго правительства и т. д. Какъ я думалъ и думаю, что Бълинскій вообще ненадеженъ, такъ, на почвъ моего общаго изученія и пониманія его дъятельности, я и по этому поводу выразился въ томъ же духъ—именно, что нельзя ручаться за прочность его радикализма, и въ одно изъ подтвержденій своей мысли привелъ упомянутую цитату. Если революціонеръ убъжденно обращается въ монархиста, то ничего этически дурного я въ такомъ обращеніи не вижу, и въ этомъ не сталъ бы упрекать Бълинскаго. Мнъ нужно было, повторяю, иллюстрировать только его характерную шаткость. И вотъ она опровергается ли соображеніями г. В—скаго?

Я понимаю, отчего послѣдній зальцбруннское письмо къ Гоголю называеть «революціоннымъ, если угодно». Оно, дѣйствительно, не совсѣмъ революціонно. На ряду съ такими тирадами, которыя этого опредѣленія вполнѣ заслуживають, тамъ, согласно обычной невыдержанности и черезполосности Бѣлинскаго, есть мѣста, удивляющія своей непріятной умѣренностью. Такъ, ріа desideria нашего критика-публициста, это, между прочимъ,—дважды высказанное пожеланіе, чтобы законы строго исполнялись «по возможности». Такъ, перечисляя «самые живые, современные вопросы въ Россіи», Бѣлинскій называеть среди нихъ «ослабленіе тѣлеснаго наказанія». Согласитесь, что это далеко отъ максимализма... \*)

<sup>\*)</sup> Правда, у Венгерова и Ляцкаго читается «отмюненіе твлеснаго наказанія». Г. Ляцкій въ примъчаніи къ ІІІ-му тому «Писемъ» Бълинскаго (стр. 377) говорить, что забсь существують разночтенія: ослабленіе, уничтомсеніе и отмюненіе и что «установить подлинный тексть пока не представляется еще возможнымъ». Г. же Венгеровъ въ книгъ о Гоголъ разрубаеть Гордіевъ узелъ риторическимъ вопросомъ: «въроятно ли, чтобы Бълинскій требовалъ только «ослабленія», а не «отмъненія твлеснаго наказанія?» На этомъ прочномъ основаніи С. А. Венгеровъ ставить «отмъненіе», хотя въ копін Краевскаго, особенную достовърность которой признаеть самъ С. А., мы читаемъ: «ослабленіе». Я же считаю вполнъ убъдительными тъ соображенія, которыя по этому поводу высказываеть г. П. И. Вишневскій въ своей упомянутой выше

Въ общемъ, тъмъ не менъе, письмо къ Гоголю революијонно. — пользуюсь разрѣшенјемъ г. Ч. В — скаго: мнъ это уголно признать. Но именно потому свидътельствомъ неустойчивости Бълинскаго я и считаю отзывъ о «Сельскомъ Чтении». Слухи объ освобожденіи крестьянъ, учрежденіе министерства государственныхъ имуществъ, вниманіе, оказанное Государемъ Киселеву (объ этомъ такъ пишетъ Бълинскій въ томъ письмъ къ Анненкову, на которое ссылается г. В-скій: «Недавно Государь Императоръ быль въ Александринскомъ театръ съ Киселевымь и оттуда взяль его съ собою къ себъ пить чай; фактъ, прямо относящійся къ освобожденію крестьянъ»):--все это, я согласенъ, могло повліять на Бълинскаго, но это не могло бы поколебать его, если бы онъ дъйствительно былъ убъжденнымъ революціонеромъ или радикаломъ. Находить въ 1848 г. Николая I однимъ изъ «достойныхъ потомковъ великаго предка», «Моисея», т. е. Петра Великаго; утверждать, что «съ тъхъ поръ до сей минуты» Россія шла по мирному пути цивилизаціи; говорить вообще такимъ тономъ, -- неужели все это (даже принимая во вниманіе, съ одной стороны, цензуру, а съ другой -- слухи объ эмансипаціи) является вну-

Не совершена ли эдъсь въ самомъ дълъ нъкая pia fraus?

книжкі «Н. В. Гоголь и В. Г. Ефлинскій». Тамъ, па стр. 114, онъ отмічаеть, что не только въ копім Краевскаго, хранящейся въ Императорской Публичной Библіотеків, но и въ самой рапней редакцім письма, какъ оно напечатано въ «Полярной Звѣздѣ» Герцена, который непосредственно отъ Ефлинскаго выслушалъ черновикъ зальцбруннскаго послапія,—зпачится «ослабленіе» «Уничтоженіем» или «отміченіемъ» впервые замічнить это непріятное слово Пыпинъ (въ 1876 г.), и получилось, какъ справедливо указываетъ г. Вишневскій, «нічто не совсімъ складное»: если бы Ефлинскій имічть въ виду «уничтоженіе» тілеснаго наказанія, то вмічто повторенія одного и того же слова онъ просто между словами «уничтоженіе крізпостного права» и словами «тілеснаго наказанія» поставилъ бы и; или онъ употребить бы «боліче выразительное» и боліче употребительное, чімъ «отміченіе», слово «отміча». «Употребить выраженіе «ослабленіе», Ефлинскій сказаль то, что сказаль».

треннимъ и органическимъ продолженіемъ письма къ Гоголю? Не исчезло ли куда-то революціонное отношеніе къ русскому самодержавію, и не осталась ли зато неизмѣнной поражающая измѣнчивость Бѣлинскаго?..

Пля меня въ этомъ смыслъ очень показателенъ и тотъ факть, что тоже посль письма къ Гоголю, уже нъсколько мъсяцевъ спустя, Бълинскій въ названномъ выше письмъ къ Анненкову выражается такъ: «Въра дълаетъ чудеса-творитъ людей изъ ословъ и дубинъ, стало быть, она можетъ и изъ Шевченки сдълать, пожалуй, мученика свободы. Но здравый смыслъ въ Шевченкъ долженъ видъть осла, дурака и пошлеца, а сверхъ того, горькаго пьяницу, любителя горълки по патріотизму хохлацкому. Этотъ хохлацкій радикалъ написалъ два пасквиля, одинъ на Государя Императора, другой на Государыню Императрицу. Читая пасквиль на себя, Государь хохоталь, и, въроятно, дъло тъмъ и кончилось бы, и дуракъ не пострадаль бы за то только, что онъ глупъ. Но когда Государь прочель пасквиль на Императрицу, то пришель въ великій гнізвъ. И это понятно, когда сообразите, въ чемъ состоить славянское остроуміе, когда оно устремляется на женщину... Шевченку послали на Кавказъ солдатомъ. Мнъ не жаль его: будь я его судьею, я сдълалъ бы не меньше. Я питаю личную вражду къ такого рода либераламъ. Это-враги всякаго успъха. Своими дерзкими глупостями они раздражають правительство, делають его подозрительнымъ, готовымъ видеть бунть тамъ, гдв ровно ничего нътъ, и вызываютъ мъры крутыя и гибельныя для литературы и просвъщенія... Вотъ что дълаютъ эти скоты, безмозглые либералишки. Охъ, эти мнъ хохлы! Въдь бараны-а либеральничають во имя галушекъ и варениковъ съ свинымъ саломъ! И вотъ теперь писать ничего нельзя-все марають. А съ другой стороны, какъ и жаловаться на правительство? Какое же правительство позволить печатно проповъдовать отторжение отъ него области?» (Письма, III, 318-320).

Я лично вполнъ соглашаюсь со взглядомъ Бълинскаго на

пасквили и съ тъмъ, что иные либералы мъшаютъ либерализму \*); но дъло не въ этомъ, а въ томъ, что между письмомъ къ Гоголю и письмомъ къ Анненкову—очень большая разница, и она тоже позволяетъ мнъ «страстную лирику трибуна», которую я услышалъ въ первомъ письмъ, не считать со стороны Бълинскаго окончательной и надежной.

По върному слову П. Н. Сакулина, я признаю Бълипскаго «либераломъ весьма сомнительнаго свойства». Но это мое мн'вніе вс'є критики отвергають. Особенно-Н. Л. Бродскій. Қазалось бы, ни въ чемъ такъ не постояненъ знаменитый критикъ, ни въ чемъ онъ такъ не въренъ самому себъ (насколько вообще можно говорить о постоянствъ Бълинскаго), какъ въ своихъ политическихъ воззрѣніяхъ: единая яркая нить консерватизма проходить и черезъ то, что онъ писалъ въ 1831 г., и черезъ то, что онъ писалъ въ 1834 г., и черезъ то, что онъ писаль въ1837, 1839, 1843, 1846, 1848 годахъ. Но все это не убъждаеть Н. Л. Бродскаго, и онъ не считаеть Бълинскаго въ общественномъ смыслъ консервативнымъ. Въ частности, по поводу «Литературныхъ мечтаній» г. Бродскій зам'ьчаетъ, что я «напрасно киваю» на ихъ последнюю страницу (ту, которая звучить сплошнымь панегирикомъ и «царю-отцу», и «чадолюбивымъ монархамъ», и «мудрому правительству», и «благородному дворянству», и «знаменитымъ сановникамъ», «являющимся посреди любознательнаго юношества въ центральномъ храмъ русскаго просвъщенія возвъщать ему священную волю монарха, указывать путь къ просвъщенію, въ духъ «православія, самодержавія и народности»); «еще С. А. Венгеровъ высказалъ догадку, что къ ней приложилъ руку редакторъ Надеждинъ».

Во-первыхъ, я на эту страницу, которую оба комментатора хотъли бы вырвать изъ собственной книги Бълинскаго, не «киваю», а безъ лукавства, прямо и опредъленно ее назы-

<sup>\*)</sup> Еще и такую характеристику либераламъ дастъ Бълинскій: "всѣ наши либералы—ужасные подлецы: они не умѣютъ быть подданными, они холопы: за угломъ любять побранить правительство, а въ лицо подличаютъ не по нуждѣ, а по собственной охотъ" (Письма, II, 44).

ваю и цитирую; во-вторыхъ, догадка г. Венгерова, къ которой присоединяется и г. Бродскій, столько же произвольна, сколько и праздна. Задаваться вопросомъ о томъ, какъ подобная страница попала къ Бълинскому, было бы умъстно лишь въ томъ случать, если бы въ текстъ его сочиненій и писемъ она была инороднымъ тъломъ, если бы она противоръчила другимъ его изъявленіямъ. Но въдь мы знаемъ, что и послъ, и раньше (въ «Дмитріи Калининъ») Бълинскій писаль то же самое, высказывался въ томъ же духъ. Напримъръ, въ письмъ 1837 г. изъ Пятигорска къ Д. П. Иванову (письмъ, которое я отчасти цитировалъ и въ своемъ силуэтъ) совершенно же опредъленно славить Бълинскій русское правительство и поучаеть своего адресата, что «политика у насъ въ Россіи не им'ветъ смысла и ею могутъ заниматься только пустыя головы»; что «Россія-еще дитя, для котораго нужна нянька, въ груди которой билось бы сердце, полное любви къ своему питомцу, а въ рукт которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости»; что «дать Россіи въ теперещнемъ ея состояніи конституцію - значить погубить Россію»; что «не въ парламентъ пошелъ бы освобожденный русскій народъ, а въ кабакъ побѣжалъ бы онъ, пить вино, бить стекла въшать дворянъ, которые бреютъ бороду и ходятъ въ сюртукахъ, а не въ зипунахъ»; что у насъ «все идетъ къ лучшему» и причиною этому «установленіе общественнаго мнънія.. и, можеть быть, еще бол'ве того самодержавная власть», которая «даеть намъ полную свободу думать и мыслить, ограничиваетъ свободу громко говорить и вм'ъшиваться ея дъла»; что блюсти цензуру и не допускать перевода нъкоторыхъ иностранныхъ книгъ, -- «это хорошо и законно съ ея стороны, потому что то, что можещь знать ты, не долженъ знать мужикъ»; что если «правительство позволяетъ выписывать изъ-за границы все, что производить германская мыслительность, самая свободная, и не позволяеть выписывать политическихъ книгъ», то «эта мъра превосходна и похвальна» (Письма, I, 91-94).

Что же, или и это письмо Бълинскаго писалъ не Бълинскій, а кто-нибудь другой? Не построять ли наши ученые какой-либо «догадки» въ этомъ направления Хорошо бы только обосновать ее во всякомъ случать не такъ, какъ это дълаеть г. Бродскій: предположеніе о принадлежности конца «Литературныхъ мечтаній» не Бълинскому, а Надеждину, онъ находитъ «вполнъ возможнымъ» потому, что въ это время кружокъ Станкевича, гдъ вращался авторъ «Литературныхъ мечтаній» «отрицательно относился къ квасному патріотизму» и, значить, если Бълинскій, быль «рупоромъ кружка», онъ не могъ быть «рапсодомъ формулы: «православіе, самодержавіе, народность» ...Эта аргументація была бы неотразимо-блестящей, но горе въ томъ, что въдь это я, только я, считаю Бълинскаго «рупоромъ кружка», а не г. Бродскій! Вѣдь послѣдній, наобороть, пламенно выступаль противь этихь словь моихъ и всъми силами зашишалъ самостоятельность нашего критика. А теперь, забывь про это, онъ утверждаеть, что извъстныхъ мыслей у Бълинскаго не могло быть, такъ какъ-де ихъ не мыслилъ кружокъ Бълинскаго! Изъ кружка въ порочный кругь безвыходно попаль здъсь Н. Л. Бродскій. И къ этому его привело желаніе во что бы то ни стало признать Бълинскаго либераломъ, т. е. прочесть то, чего послъдній не писалъ, и не читать того, что онъ написалъ всеми буквами, явственно и несомнительно.

По своему обыкновенію, г. Бродскій для большей вѣрности опирается и на авторитеты, подтверждающіе либеральность Бѣлинскаго: онъ называетъ Герцена, Некрасова, Салтыкова—и, въ другой плоскости, даже коменданта Петропавловской крѣпости и Дубельта, которые недаромъ же поджидали Бѣлинскаго въ «тепленькій казематъ» и жалѣли, что смерть освободила его отъ тюрьмы.

Мое упорное нежеланіе считаться съ авторитстами остается въ силъ. Къ тому же, коменданта Скобелева и Дубельта я даже не признаю въ данномъ вопросъ компетентными: я думаю, что ПП Отдъленіе не всегда было право, что Дубельтъ

иногда ошибался, что у русскаго правительства, какъ у страха, были глаза велики. И неужто въ самомъ дълъ статьи Бълинскаго, даже если стоять на офиціальной точкъ зрънія, справедливо «считались опасными, вредными»? Развъ это не было однимъ изъ обычныхъ недоразумъній нашего строя? О письмъ къ Гоголю я не говорю,—но въдь и въ своемъ силуэтъ я призналъ его, на ряду съ нъкоторыми другими письмами, исключеніемъ изъ общаго политическаго правила у Бълинскаго.

Одинь изъ наиболѣе частыхъ укоровъ, предъявляемыхъ ко мнѣ обычно, а за силуэтъ Бѣлинскаго въ особенности, это-то, что я лишень чувства исторической перспективы; какъ мило шутить П. Н. Сакулинъ, на моемъ рабочемъ столь въ граненомъ хрустальномъ флаконь стоить какой-то «реактивъ на въчность». Вообще, о моемъ эстетизмъ много говорять мои оппоненты, попрекають меня имъ и о методъ имманентной критики, который я защищаю и который береть у писателя то, что писатель даеть, они отзываются съ убійственной насмъшкой. Я не буду эдъсь касаться этихъ обвиненій въ ихъ общей форм'ь (т'ьмъ бол'ье что конкретно ни одинъ изъ моихъ рецензентовъ ни въ одной ошибкъ противъ историчности меня не уличиль), а разсмотрю этоть пункть только въ примънении къ мсей характеристикъ Бълинскаго. И такъ какъ упрекъ въ анти-историзмъ преимущественно выдвигаеть противь меня критикь Русскаго Богатства г. А. Дерманъ, то я по данному вопросу остановлюсь главнымъ образомъ на его статьъ. Но чтобы уже не возвращаться къ г. Дерману, я по дорогь сдълаю попытку опрокинуть и другія его сооруженія, воздвигнутыя противъ меня.

Первое впечатлъніе, какое онъ вынесъ отъ моего очерка, это — «отсутствіе скромности». Моя фраза: «то представленіе, какое получаешь о Бълинскомъ изъ чужихъ прославляющихъ устъ, въ значительной степени рушится, когда под-

ходишь къ его книгамъ непосредственно», —эта фраза истолковывается моимъ рецензентомъ такъ, что, по моему-де, либо пикто до меня не подходилъ къ книгамъ Бѣлинскаго, либо, «подойдя къ нимъ и разрушивъ легенду въ сердцъ своемъ, не нашелъ въ себъ мужества открыто объ этомъ заявить».

Упрекомъ въ нескромности жестокій г. Дермапъ ставить меня въ очень щекотливое положение: въдь если я, въ отвъть ему, стану доказывать свою скромность, я тъмъ самымъ се потеряю, не правда ли?.. Но дълать нечего. Я долженъ напомнить г. Дерману, что есть pluralis majestatis и есть pluralis modestiae. То множественное число, которое заключается въ моихъ обобщающихъ безличныхъ выраженіяхъ «получаешь» и «подходишь», это, конечно, — pluralis второй категоріи. По существу я говорю о себъ, только о себъ, о своемъ субъективномъ впечатлъніи; но чтобы свою личность не выдвигать, я и употребиль форму безличную. Мит именно казалось, что такъ будетъ скромнъе, - а вотъ подите жъ!. Своей шапкой-невидимкой я не боялся ввести кого-либо изъ свъдущихъ людей въ заблужденіе, потому что однажды навсегда заявиль о субъективности своихъ силуэтовъ и въ предисловіи къ нимъ постарался даже ее принципіально обосновать. Этоть мой субъективизмъ, этотъ мой импрессіонизмъ какъ разъ и служитъ основной мишенью для нападокъ на меня со стороны моихъ критиковъ; какъ разъ потому они и находять мои взгляды необязательными (съ чъмъ согласенъ и я). А вообще имъть свои взгляды, въ частности — на Бълинскаго, этого, я понимаю, не признаеть нескромностью и г. Дерманъ. Иначе идеаломъ скромности надо было бы считать Молчалина, который думаль, что ему не должно смъть свос сужденіе имъть.

Въ скобкахъ замъчу, что не только г. Дерманъ, но и г. Ивановъ-Разумникъ забылъ о субъективномъ характеръ монхъ характеристикъ. Въ самомъ дълъ: отбрасывая не только мого оцънку Бълинскаго, но и въ связи съ него мой метедъвсобще, г. Ивановъ-Разумникъ именуетъ послъдній «историко-

литературнымъ», утверждаетъ, что самъ я «въ особой статъъ познакомилъ читателей съ этимъ своимъ «методомъ», и выясняетъ, «въ чемъ слабость «историко-литературнаго метода» г. Ю. Айхенвальда».

Для меня— загадка, почему слова «историко-литературный» г. Ивановъ, будто цитируя, упорно замыкаетъ въ кавычки и почему онъ ссылается на мою «особую статью», глъ я знакомлю якобы съ «этимъ своимъ «методомъ». Развъ я въ этой статьъ, которую читалъ же, конечно, г. Ивановъ-Разумникъ, коль скоро онъ на нее опирается, развъ я тамъ или гдъ-нибудь въ другомъ мъстъ называю и признаю свой методъ «историко-литературнымъ»? Развѣ въ этой статьъ, наоборотъ, я своего метода не отмежевываю отъ историко-литературнаго? Развъ суть и ересь ея не заключается именно въ томъ, что я историко-литературный методъ отвергаю? Какое же право имъетъ г. Ивановъ на кавычки? Или это-иронія? Тогда надъ къмъ, надъ чъмъ? Иронизировать надъ «историко-литературностью» моего метода, очевидно, можно было бы лишь въ томъ случав, если бы я или кто-нибудь другой считаль и называль его историко-литературнымъ. И когда г. Ивановъ-Разумникъ провозглашаетъ, что «критическая манера не есть историко-литературный методъ», то в'єдь этимъ онъ меня не уничтожаетъ, а меня, мою же главную мысль, альтруистически поддерживаеть. Зачізмь же онъ съ такими усиліями ломится въ ту дверь, которую я самъ широко раскрылъ? Это съ его стороны неэкономно и знаменуетъ полную побъду не надо мною, а надъ здравымъ смысломъ.

Итакъ, г. А. Дерманъ осуждаетъ меня за несоблюденіе исторической перспективы. Мои указанія на то, что Бълинскій не понялъ Баратынскаго, не дооцънилъ Пушкина, не принялъ Татьяны, г. Дерманъ признаетъ «чудовищнымъ непониманіемъ сущности критики»; онъ видитъ въ нихъ требованіе съ моей стороны, чтобы «Бълинскій зналъ не меньше того, что теперь извъстно» мнъ. И эти «упреки» мои «рав-

носильны тому, какъ если бы нынче гимназистъ VI класса принялся укорятъ Аристотеля:—какъ же это вы, милостивый государь, позволили себъ утверждать, что природа боится пустоты? Стыдно-съ! Давленіе воздуха, а «не боится пустоты»!

Простимъ тонъ этой пошлой буфонады, развязность этого «милостиваго государя», и вникнемъ въ дъло по сушеству. Если бы мои ожиданія отъ Бълинскаго взаправду были «равносильны» требованію, чтобы Аристотель обладаль научными знаніями XX стольтія, то это свидьтельствовало бы о такой моей непроходимой глупости, что непроходимой глупостью было бы спорить со мною. Въдь только глупецъ оспариваеть глупца. Къ счастью для насъ съ г. Дерманомъ, положение вещей не таково. Я, прежде всего, спрашиваю съ Бълинскаго не фактическихъ знаній, а вкуса и оцънки. И, затъмъ, я ихъ спрашиваю именно въ предълахъ его эпохи, по мфрф исторической возможности. Развф, дфиствительно, въ то время, когда жили Пушкинъ и Баратынскій, исторически возможно было ихъ понять и оцънить? Развъ не было тогла людей, которые принимали и Татьяну, и мудрость Баратынскаго, и многое другое, чего не принялъ Бълинскій? Я даже не думаю, что для этого надо было быть великимъ ловъкомъ; но ужъ во всякомъ случать ть, которые считаютъ Бълинскаго великимъ критикомъ, геніальнымъ критикомъ. которые безвкусно называють его «великій критикь земли русской», - ужъ они-то навърное не имъютъ права его ошибки оправдывать ссылкой на его время: въдь тъмъ-то великій и великъ, что онъ больше своихъ современниковъ. Если Бълинскій-только сынь своей эпохи, рядовой представитель ея, страдающій ея естественной близорукостью, то за что же его такъ увънчивать? Недаромъ его панегиристы, противоръча строгости своего же историзма, часто указывають, что Бълинскій стояль именно впереди своего времени. Такъ. г. Дерманъ, защищающій Бълинскаго и Аристотеля отъантиисторичныхъ нападокъ моихъ и родственнаго мнъ по уму гимназиста VI класса, восторженно отмѣчаетъ «по

пророческую геніальность въ такомъ чудѣ критическаго прозрѣнія Бѣлинскаго, какъ предсказаніе славы Достоевскому по его первой повѣсти», чуждой въ своемъ стилѣ господствовавшимъ формамъ. Что же, можно, значитъ, пророчески упреждать исторію, геніальной мыслью преодолѣвать ея рамки, совершать «чудеса критическаго прозрѣнія»?

Правда, выбранная г. Дерманомъ иллюстрація къ этому тезису крайне неудачна и говорить не за Бълинскаго, а противъ него. Во-первыхъ, г. Дерманъ, разъ приняль любезное участіе въ спеціальномъ споръ, должень бы знать (или помнить), что Достоевскаго открыли Григоровичъ и Некрасовъ, а не Бълинскій: это они, очарованные повъстью юнаго автора, въ памятную русской литературъ бълую майскую ночь, прибъжали къ Достоевскому со словами восторга; это Некрасовъ принесъ Бълинскому рукопись «Бъдныхъ людей» и «закричалъ»: «Новый Гоголь родился!», на что знаменитый критикъ «строго» отвътилъ: «у васъ Гоголи-то какъ грибы растутъ», и лишь послѣ этого, прочитавъ рукопись, онъ и самъ пришелъ въ волненіе и восхищеніе. Во-вторыхъ, г. Дерманъ долженъ бы знать (или помнить), что печати Бълинскій даль о «Бъдныхъ людяхъ» довольно умъренный отзывъ, совсъмъ не такой, какъ въ устной бесъдъ съ Достоевскимъ. Въ-третьихъ, г. Дерманъ долженъ бы знать (или помнить), что Бълинскій со свойственной ему шаткостью отъ своей высокой оцънки Достоевскаго скоро отказался, въ ней раскаялся и за нее назвалъ себя «осломъ»; вотъ что писалъ онъ Анненкову: «Онъ (Достоевскій) и еще кое-что написалъ послъ того, каждое его произведение-новое паденіе. Въ провинціи его терп'єть не могуть, въ столиц'є отзываются враждебно даже о «Бъдныхъ людяхъ». Я трепещу при мысли перечитать ихъ, такъ легко читаются они! Надулись же вы, другь мой, съ Достоевскимъ-геніемъ! О Тургеневъ не говорю-онъ тутъ былъ самимъ собою, а ужъ обо мнь, старомь чорть, безь палки нечего и толковать. Я, первый критикъ, разыгралъ тутъ осла въ квадратъ» (Письма, 111, 338). Это—его послъднее слово о Достоевскомъ (какъ и все это письмо, къ несчастью,—одно изъ послъднихъ предсмертныхъ словъ Бълинскаго). Гдъ же здъсь геніальность, гдъ же пророчество, гдъ критическое чудо?

Въ своей работъ я, по г. Дерману, «натворилъ нъчто невообразимое»; гръхъ противъ элементарнаго историзма, даже «комическую наивность» онъ усматриваеть, наприм'єръ, въ такихъ строкахъ моей статьи: «если Бълинскій — энтузіасть, то почему же, смущенно спрашиваешь себя, у него такъ много риторики и гуслярнаго звона, и раскращеннаго стиля?.. почему свою увлеченность онъ выражаеть не въ задушевной и дорогой простоть, почему о любимомъ онъ говорить не естественно?» На всъ эти вопросы мои г. Дерману просто «совъстно отвъчать», такъ какъ, если бы свою совъстливость онъ преодолълъ, то отвъты заключались бы въ «азбучно-элементарныхъ указаніяхъ на то, что риторическое для нашихъ дней было абсолютно адэкватно энтузіазму Бълинскаго 75 лъть назадъ», что «тогда не было и быть не могло «дорогой простоты» стиля Чехова», что Бълинскій не могь же писать «языкомъ Бориса Зайцева».

Вы видите, историзмъ отплатилъ своему безкорыстному ревнителю черной неблагодарностью: г. Дерманъ не долго думая (именно потому, что не долго думая) впадаетъ въ такую историческую ошибку, которая была бы чудовищна, если бы она не была смѣшна. Справедливо полагая, что Бѣлипскій не могъ дожидаться Чехова и Зайцева, мой рецензентъ забываетъ только... о Пушкинъ. Я, обвиняемый въ анти-историзмѣ, знаю однако исторію, помню хронологію и отдаю себѣ ясный отчетъ въ томъ, что во времена Бѣлинскаго и до пего быль уже Пушкинъ, который свою прозрачную прозу, свои разсказы и критическія статьи запечатлѣлъ хрустальной простотой, выражалъ свой энтузіазмъ, африканскую огненность своей натуры, безъ риторики и надъ всякой риторикой отъ души смѣялся; я, осуждаемый за пренебреженіе къ исторической перспективъ, не упускаю изъ виду, что естественно-

му стилю Бѣлинскій могъ учиться не только у Пушкина, но даже у нѣкоторыхъ своихъ предшественниковъ,—напримѣръ, у Кирѣевскаго, очень далекаго отъ напыщенности «Литературныхъ мечтаній»,—я, словомъ, все это и многое другое учитываю, а защитникъ перспективы, другъ исторіи, этимъ пренебрегаетъ и, какъ цитированный имъ гимназистъ VI класса, въ своемъ упрощенномъ пониманіи историзма констатируетъ лишь то несомнѣнное, что современниками Бѣлинскаго не были Чеховъ и Зайцевъ.

Не было бы грѣха и въ томъ, если бы г. Дерманъ зналъ (или помпилъ), что въ риторизмѣ обвинялъ Бѣлинскаго самъ Бѣлинскій, что, по его собственному признанію, риторикой возмѣщалъ онъ недостававшій ему павосъ; вотъ что пишетъ онъ Боткину: «Мнѣ нужно то, въ чемъ видно состояніе духа человѣка, когда онъ захлебывается волнами трепетнаго восторга и заливаетъ ими читателя, не давая ему опомниться. Понимаешь? А этого-то и нѣтъ,—и вотъ почему у меня много риторики (что ты весьма справедливо замѣтилъ и что я давно уже и самъ созналъ). Когда ты наткнешься въ моей статьѣ на риторическія мѣста, то возьми карандашъ и подпиши: здѣсь бы долженъ быть павосъ, но, по бѣдности въ ономъ автора, о, читатель! будь доволенъ и риторической водою» (Письма, 11, 215).

Приведя мои слова: «понятіе о въчности литературы было Бълинскому вообще чуждо, и онъ думалъ, что на всъ книги, направленія, стили есть только временный спросъ и временный къ нимъ интересъ»,—г. Дерманъ замъчаетъ, что если изъ этой тирады устранить «вульгаризмъ («временный спросъ»), принадлежащій не Бълинскому», то въ такомъ исповъданіи послъдняго окажется «величайшая правда и заслуга», а неправда и вина будетъ какъ разъ на моей сторонъ, такъ какъ-де для Бълинскаго «именно изъ понятія въчности литературы вытекало понятіе о временности и смертности стиля», я же (а не Бълинскій) этому понятію совершенно чуждъ, коль скоро я полагаю, будто «существуетъ какой-то въчный

стиль». «А онъ (т. е. я, Ю. А.), къ сожальнію это полагаеть».

Я радъ, что могу освободить г. Дермана отъ его сожалънія, этого тягостнаго чувства. Хотя разбираемую статью свою онъ озаглавилъ «Айхенвальдъ о Бѣлинскомъ», но въ началъ ея посвящаетъ нѣсколько строкъ всей моей книгѣ вообще и высказываетъ мнѣніе, что изъ входящихъ въ нее новыхъ характеристикъ «наиболѣе удачной» является посвященная Бальмонту. Значитъ, мои новые очерки г. Дерманъ сравнивалъ другъ съ другомъ; а если онъ ихъ сравнивалъ, значитъ, онъ ихъ читалъ всъ; а если онъ ихъ читалъ, то, значитъ, въ моемъ очеркъ о Карамзинъ онъ прочелъ слъдующія строки: «исчезають литературные стили, но если была въ нихъ душа, то она остается, и сквозъ старое, старомодное можно видъть ея живой и безсмертный обликъ».

Ясно, кажется, что г. Дерманъ исцъленъ отъ своего сожалънія. Ясно, что не только я не полагаю, будто существуетъ какой-то въчный стиль, но и, наоборотъ, въчность литературы (души) противопоставляю временности отдъльныхъ стилей, т. е. дълаю то, что г. Дерманъ признаетъ «величайшей правдой и заслугой». Бълинскій же въчнаго сквозь временное, литературы сквозь стиль, души сквозь моду не чуяль, - и въ этомъ я его упрекаю. Онъ, повторяю, думаль, что на всв направленія, книги, стили есть только временный спросъ и только временный къ нимъ интересъ. А что «вульгаризмъ» временнаго спроса принадлежить не мнъ и что г. Дерманъ не имъеть права отнимать его у Бълинскаго, это можно видъть даже изъ всей его оцънки Пушкина и изъ многихъ рецензій; въ качествъ примъра укажу хотя бы на слъдующее: въ 1835 г. Бѣлинскій объ« Аббадонѣ» Полевого дасть положительный отзывъ, а въ 1841 г. о немъ же-отзывъ отрицательный, и мотивируеть это тымь, что данное произведение не можеть интересовать публику такъ, какъ прежде: «пять лътъ въ русской литературъ, -- да это все равно, что пятьдесять въ жизни иного человъка!... И потому должно ли удивляться, что та же самая

публика, которая очень радушно приняла «Аббадону» въ 1835 году, теперь велитъ ей говоритъ «дема иътъ»? (Сочиненія Бълинскаго, редакція Венгерова, т. II, 74; т. VI, 153).

Пять льть-это ли не «временный спросъ»?

Въ связи съ этимъ находится тяжкое обвиненіе г. Дермана, что я, «съ какой-то этической безпечностью, не гнушаюсь чтеніемъ въ сердцахъ» и оттого «происхожденіе теоретическаго сужденія» Бълинскаго приписываю его боязни «оказаться не передовымъ, не просвъщеннымъ».

Всъ читавшіе Бълинскаго знають, какъ часто онъ ссылается на «наше время», какое огромное значеніе приписываеть эпохів, «духу времени», какъ важно въ его глазахъ, чтобы каждый писатель отв'вчалъ требованіямъ современности, быль передовымь и просвъщеннымъ. Это и дало миъ право утверждать, что и самъ Бълинскій боялся оказаться не въ числъ передовыхъ и просвъщенныхъ, вслъдствіе чего и отъ искусства требовалъ онъ служенія вопросамъ эпохи. Это я прочель не въ сердцъ Бълинскаго, а въ его книгахъ; это мнъ раскрыла не «этическая безпечность», а критическая внимательность. Наконець, чтеніе въ сердцахъ предосудительно тогда, когда оно уличаетъ человъка въ чемъ-нибудь дурномъ; а въ томъ, что Бълинскій боялся не оказаться просвъщеннымъ, нътъ ничего морально-дурного, развъ лишь умственная робость. И я продолжаю утверждать, что Бълинскій слишкомъ прислушивался къ времени, и это только-иллюзія, будто онъ шелъ впереди его.

Легкомысленно забывъ Пушкина тамъ, гдѣ необходимо было его помнить, г. Дерманъ вспоминаетъ о немъ тамъ, гдѣ его можно было бы и забыть. Именно: я указываю, что изъ отношеній Николая І къ Пушкину Бѣлинскій умиленно отмѣчаетъ лишь вниманіе царя къ умиравшему поэту; далѣе, я говорю, что нашъ критикъ сочувственно поддерживалъ русскій шовинизмъ и офиціальные каноны,—г. Дерманъ на все это возражаетъ, что и самъ Пушкинъ то же самое запомнилъ изъ отошеній къ нему государя (слова на смертномъ одрѣ: «весь

быль бы его») и что Пушкина съ его «Клеветниками Россіи» я, будучи послъдовательнымъ, тоже долженъ быль бы обвиинть въ шовинизмъ.

Какъ-то скучно отвъчать рецензенту, что мой силуэть посвященъ не Пушкину, а Бълинскому, что о Пушкинъ—разговоръ особый. Но если ужъ этотъ посторонній разговоръ г. Дерманъ поднимаеть, то въ видъ единственной реплики я мелькомъ скажу, что къ поэгу и къ публицисту предъявляются требованія разныя; что, въ противоположность Бълинскому, Пушкина политическимъ либераломъ вовсе и не считаютъ; что Пушкинъ, умирая. не могъ не испытать горячей благодарности къ государю за его объщаніе позаботиться о женъ и дътяхъ (слишкомъ скоро—вдовъ и сиротахъ), а Бълинскій, живя, могъ бы помнить и о другомъ вниманіи царя къ поэту, долженъ бы знать, какія препятствія на литературной и жизненной дорогъ замученнаго Пушкина ставили монархъ и его правительство.

Для того чтобы исчерпать фактическое содержаніе рецензіи г. Дермана, я остановлюсь еще на вопрость о Гончаровъ; кстати отвъчу и г. Бродскому, который тоже касается этого пункта.

Какъ одну изъ ошибокъ Бълинскаго, я называю то, что онъ пустилъ въ нашъ литературный оборотъ противоноложное истинъ утвержденіе, будто Гончаровъ — писатель объективный. На это г. Дерманъ возражаетъ, что о томъ, субъективенъ или объективенъ Гончаровъ, спорятъ еще и до сихъ поръ; что самыя понятія субъективности или объективности претерпъли за это время большія измъненія; что, наконецъ, «объективность Гончарова сдълалась вопросомъ въ тъсной связи съ біографическими данными, совершенно неизвъстными Бълинскому». Г. же Бродскій находитъ, что недавно опубликованная переписка Гончарова «даетъ возможность считать точку зрънія Бълинскаго далеко не ошибочной»; что Гончаровь умъль «сжиматься, прятать себя, свое субъективное я въ ин-

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

тимныхъ тайникахъ, являться передъ читателемъ преображеннымъ, дъйствительно объективнымъ художникомъ».

Отмъчая ошибку Бълинскаго, я, конечно, обязанъ былъ брать понятіе объективности именно въ томъ смыслъ, въ ка-комъ употреблялъ его самъ Бълинскій, — каковую обязанностя я и выполниль, такъ что указаніе на измінчивость этого понятія, сдъланное г. Дерманомъ, совершенно отпадаетъ, какъ отпадаетъ и указаніе г. Бродскаго на переписку Гончарова: Н. Л. Бродскій говорить про объективность вовсе не въ томъ смыслъ, въ какомъ говорилъ про нее Бълинскій, а вслъдъ за нимъ и я, -оба мы имъли въ виду Гончароваписателя. Не то, что въ личной жизни авторъ «Обломова» порою могь быть раздражительнымъ и нервнымъ, «почти маніакомъ», а въ своихъ произведеніяхъ всегда является спокойнымъ, - не это важно для Бълинскаго (и для меня), а то, что, въ глазахъ знаменитаго критика. Гончаровъ былъ безтенденціозенъ и безстрастепъ; я опираюсь на воспоминанія самого романиста и на слова Бълинскаго: «у него (Гончарова) нътъ ни любви, ни вражды къ создаваемымъ имъ лицамъ, они его не веселять, не сердять, онь не даеть никакихъ правственныхъ уроковъ ни имъ, ни читателю» (Сочиненія Бѣлинскаго подъ ред. Иванова-Разумника, III, 973). Вотъ это мнъніе Бълинскаго и представляется мнъ противоположнымъ истинъ. Не только тъ произведенія Гончарова, которыхъ нашъ критикъ не могъ знать, говорять именно объ отсутствіи у перваго объективности (не ясно ли, напримъръ, что Марку Волохову онь не сочувствуеть, а сочувствуеть лѣсничему Тушину: что онъ — за «бабушкину мораль», за общественный консерватизмъ; что Обломову онъ неодолимо симпатизируетъ и придаетъ ему очень многое отъ самого себя, какъ и всъхъ почти героевъ надъляеть особенностями своего стиля? и развъ это писательобъективисть провожаеть Въру въ обрывъ лирической мольбою: «Боже, прости ее, что она обернулась!»?), -не только эти произведенія, но и «Обыкновенная исторія», Бълинскому извъстная, не позволяеть утверждать, будто Гончаровъ «не даетъ никакихъ нравственныхъ уроковъ» и одинаково безразлично относится къ Адуеву-старшему и къ Адуеву-младшему.

И, вопреки г. Дерману, очевидно, въ данномъ случать неосвтдомленному, объективность Гончарова вовсе не «сдълалась
вопросомъ въ тъсной связи съ біографическими данными, совершенно неизвтетными Бълинскому». Я вынужденъ сослаться
на самого себя и указать, что еще въ 1901 году, до появленія извтетной монографіи о Гончаровть Е. А. Ляцкаго, я въ
статьть о творцть «Обломова» призналь глубокимъ и поразительнымъ недоразумтніемъ его репутацію объективности.
По своему обыкновенію, я руководился не біографіей писателя, а его писаніями. Г. же Ляцкій, положившій въ основу
своихъ разысканій именно біографическій элементъ, независимо
пришель впоследствіи къ ттыть самымь выводамъ, что и я;
особымъ письмомъ въ редакцію, напечатаннымъ въ журналть
Современникъ, онъ самъ призналь мой пріоритеть въ указаніи

Н. Л. Бродскій и Ч. В—скій возражають на мою ссылку, что Бѣлинскій, по собственному признанію, «понимающій и цѣнящій поэтическій таланть» Лермонтова, какъ разъ оттого и предлагаеть ему не вносить въ собраніе своихъ сочиненій «Ангела» и «Узника»—того, какъ выразился я, «безъ чего Лермонтовъ не Лермонтовъ». Съ моей оцѣнкой «Ангела» г. В—скій согласень; но вотъ и онъ, и г. Бродскій все-таки находять, что я не правъ; г. Бродскій сенсаціонно, курсивомъ, изобличаеть меня даже въ томъ, что къ своему выводу я пришелъ, «не дочитавъ рецензіи Бълинскаго до конца». А этотъ конецъ (мнѣ, само собою разумѣется, вѣдомый столько же, сколько и отдѣленное отъ него нѣсколькими строчками начало) гласитъ, что «эти два стихотворенія недурны, даже хороши, но только не превосходны, а безъ этого не могутъ быть хороши, когда подъ ними подписано имя г. Лермонтова».

Не говоря уже о наивности такой скалы (недурное, хорошее, превосходное), -- конецъ рецензіи расшатываетъ ли скольконибудь ея начало, ея гнетущую суть - надежду, что Лермонтовъ вычеркнеть изъ своей поэзіи «Ангела»? И пусть Бълинскій, какъ отмъчаетъ г. Ч. В - скій, угадаль, что названныя два стихотворенія — «очень раннія» у Лермонтова; пусть онъ всегда былъ противникомъ такихъ предназначенныхъ для широкой публики собраній, въ которыя входить каждая строчка писателя, - все это не имъетъ никакого отношенія къ дѣлу и ничуть не колеблеть приведеннаго мною факта, что знаменитый критикъ не считалъ Лермонтова характернымъ и достойнымъ «Ангела» ника»). Дополненіемъ къ печатному отзыву объ этихъ произведеніяхъ и оправданіємъ словъ моихъ, а не гг. Бродскаго и В -скаго, является слѣдующій отрывокъ изъ письма Бѣлинскаго - о тъхъ же «Ангелъ» и «Узникъ»: «Стихи Лермонтова недостойны его имени, они едва ли и войдуть въ изданіе его сочиненій... и я ихъ ругну» (Письма, II, 70).

Кстати, онъ же и «Послъднее новоселье» Лермонтова называлъ «гадостью» (Письма, 11, 249).

Одно изъ грубыхъ и ръзкихъ проявленій недодуманности Бълинскаго я усмотрълъ въ его отношении къ пушкинской Татьянъ. Ея нравственной сущности онъ совсъмъ не принимаеть; ея послъднія слова, обращенныя къ Онъгину, вызывають у критика почти глумленіе («конецъ вѣнчаеть дѣло» и т. д.) Въ періодъ первой встрѣчи съ Онѣгинымъ Татьяна для Бѣлинскаго-«нравственный эмбріонъ»; а то, что «Татьяна візрила преданьямъ простонародной старины и снамъ, и карточнымъ гаданьямъ, и предсказаніямъ луны», -- это опъ считаеть «грубыми, вульгарными предразсудками». Вотъ здъсь и прерываетъ меня г. Ч. В-скій, утверждая, что у Бълинскаго «сказано такъ, да не совсъмъ такъ», -и онъ приводитъ извъстную цитату (выпишу необходимую часть ея): «Татьяна возбуждаеть не смъхъ, а живое сочувствіе,... осталась естественно простой въ самой искусственности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая ее дъйствительность... Это дивное соединение грубыхъ, вульгарныхъ предразсудковъ съ страстью къ французскимъ книж-камъ и съ уваженіемъ къ глубокому творенію Мартына Задеки возможно только въ русской женщинъ». «Это не «постыдная непонятливость» (какъ я, Айхенвальдъ, назвалъ откликъ Бълинскаго на плънительные стихи Пушкина о суевъріяхъ Татьяны), «а восхищенное любованіе дъвушкой, въ которой получала неожиданную прелесть и дань предразсудкамъ»-говоритъ мой рецензентъ. Но я совершенио не понимаю, гдъ въ словахъ Бълинскаго нашелъ г. Ч. В - скій «восхищенное любованіе». Такъ какъ надъ «уваженіемъ» Татьяны къ Мартыну Задекъ (по Пушкину— ея любимцу) знаменитый критикъ иронизируеть, такъ какъ и французскія книжки героини тоже не пользуются его симпатіей, то вполиъ ясно, что подъ «дивнымъ соединеніемъ» надо понимать у него «диковинное, странное соединеніе», и это послъднее Бълинскій признаетъ возможнымъ только въ русской женщинъ. А характерныя черты русской женщины и, въ частности, Татьяны сказались для него въ ея объясненіи съ Онфгинымъ: пламен-

ная страсть, задушевность простого, искренняго чувства, чистота, святость наивныхъ движеній-и резонерство, оскорбленное самолюбіе, тщеславіе добродітелью, «подъ которой замаскирована рабская боязнь общественнаго мнънія», и «хитрые силлогизмы ума, свътской моралью парализировавшаго великодушныя движенія сердца». И то, что по митьнію Татьяны, она болъе способна была внушать любовь, когда моложе и «лучше, кажется, была», -- это заставляеть Бълинскаго насмъшливо воскликнуть: «какъ въ этомъ взглядъ на вещи видна русская женщина!» И непростительной глупостью, заимствованной «изъ плохихъ сантиментальныхъ романовъ», просвъщенный и передовой критикъ считаетъ то убъждение Татьяны, о которомъ онъ иронически замѣчаеть: «вѣдь для любви только и нужно, что молодость, красота и взаимность!» (а что же еще нужно? чего еще требовали другъ отъ друга Ромео и Джульетта?) И если бы г. В-скій свою цитату нъсколько продолжилъ, онъ вынужденъ былъ бы привести слова Бълинскаго о томъ, что въ Татьянъ «умъ ея спалъ, и только развъ тяжкое горе жизни могло потомъ разбудить его, -- да и то для того, чтобъ сдержать страсть и подчинить ее разсчету благоразумной морали»; или слова о томъ, что она-«созданіе страстное, глубоко чувствующее, и въ то же время не развитое, наглухо запертое въ темной пустотъ своего интеллектуальнаго существованія»; или слова о томъ, что она была «нравственнонъмотствующая и потому ея письмо, «прекрасное и теперь», все-таки «уже отзывается немножко какой-то дътскостью», и хотя «самъ поэть, кажется, безъ всякой ироніи, безъ всякой задней мысли и писалъ и читалъ это письмо», «но съ тъхъ поръ много воды утекло». Впрочемъ, у Бълинскаго, всегда роскошествующаго противоръчіями, есть и другія, болье достойныя ръчи о Татьянъ; по едва ли не самое задушевное митьніе его о ней мы встръчаемъ въ письмъ къ Боткину (11, 394), гдъ онъ говорить нъчто такое, на что издатель его переписки накидываеть цъломудренную и все-же прозрачную вуаль изъ точекъ: «О Татьянъ тоже согласенъ: съ тъхъ

поръ какъ она хочетъ въкъ быть върною своему генералу..... ея прекрасный образъ затемняется». Только нецензурное и только «благоразумную мораль» воспринимаетъ истолкователь Пушкина въ этой возвышенной исповъди чувства и чести: «я васъ

Вопреки Н. Л. Бродскому, я имълъ право сказать, что Бълинскій не приняль «Капитанской дочки», коль скоро онъ пишеть о ней, напримъръ, такъ: «Капитанская дочка» Пушкина, по-моему, есть не больше, какъ беллетрическое произведеніе, въ которомъ много поэзіи, и только мъстами пробивается художественный элементъ. Прочія повъсти его — ръшительная беллетристика» (Письма, 11, 108.)

Вопреки Н. Л. Бродскому, я имълъ право сказать, что Бълинскій не принялъ сказокъ Пушкина, коль скоро онъ назвалъ ихъ «плодомъ довольно ложнаго стремленія къ народности», «уродливыми искаженіями и безъ того уродливой поэзіи». А если г. Бродскій зам'єчаеть, что нашъ критикъ рекомендовалъ дътямъ сказку «О рыбакъ и рыбкъ», то это втрно, - только почему же мой оппоненть не упомянуль кстати, что Бълинскій видъль въ ней «исключеніе» и лишь оттого находиль въ ней «положительныя достоинства»? Въ другихъ сказкахъ Пушкина, значитъ, положительныхъ достоинствъ нътъ. Отчего именно «строго относился» Бълинскій (выраженіе г. Бродскаго) къ сказкамъ Пушкина, отчего онъ отвергъ Ершова (оттого, объясняетъ мой рецензентъ, что все это казалось ему поддѣлкой подъ истинный народный ладъ, бывшій для него «милѣе») это-другой вопросъ, на которомъ я и не обязанъ былъ останавливаться. Понятно, что всякое явленіе имъетъ свою причину, есть причина и у эстетическихъ ошибокъ Бълинскаго; но какова бы она ни была, оппирки не перестають быть ошибками. Причина объясняеть слъдствіе, но не уничтожаеть его. И объясненіе не есть оправданіе. Къ тому же, и причина указана г. Бродскимъ далеко не точно: вотъ мы только что видъли: «уродливое искаженіе и безь того уродливой поэзіи» (Сочиненія Бълинскаго подъ ред. Иванова-Разумника, III, 271). Вообще, отношеніе Бѣлинскаго къ народной русской словесности, его взглядъ на «немножко дубоватые матерьялы народныхъ нашихъ пъсенъ» недаромъ вызвали впослъдствіи такое огорченіе у Буслаева, который вспоминаеть о себь, что онь «не презираль вмъсть съ Бълинскимъ дъла давно минувшихъ дней, преданья старины глубокой... не глумился и не издъвался вмъсть съ Бълинскимъ надъ нашими богатырскими былинами и пъснями».

Въ числъ эстетическихъ ошибокъ Бълинскаго я привелъ то, что онъ Даля провозгласилъ «послъ Гоголя до сихъ поръ ръшительно первымъ талантомъ въ русской литературъ» и нъкоторые его персонажи считалъ «созданіями геніальными». Г. Бродскій отвъчаетъ мнъ на это, что Даль въ свое время дъйствительно «занималъ видное мъсто, пожалуй, едва ли не первое», что онъ давалъ широкія картины быта, что и Пушкинъ цънилъ Даля и находилъ его «полезнымъ и нужнымъ».

Ясно, однако, что все это не колеблетъ моего замъчанія: если бы и Бълинскій такъ смотръль на Даля, если бы онъ признавалъ его знатокомъ русской народности, талантливымъ авторомъ «физіологическихъ» очерковъ, писателемъ демократизма, то это встрътило бы и съ моей стороны полное сочувствіе. Я возставаль только противь «геніальности», противъ «перваго мъста» за Гоголемъ. Я иллюстрировалъ только на этомъ примъръ (какъ и на другихъ) поразительное отсутствіе у Бълинскаго эстетической перспективы, обезцівнивающее у него даже и върныя сужденія. Когда, чуждый «па восу разстоянія», онъ ставить въ одинъ рядъ Шекспира, Гете и Купера, Шиллера и Загоскина, Гоголя и Павлова съ Вельтманомъ, Гоголя и Даля, когда находитъ, что повъсть Соллогуба «поглубже всъхъ Бальзаковъ и Гюговъ», когда онъ соглашается, что Гоголь не ниже Купера, то удручаеть насильственное и невозможное сосъдство, и уже не радуешься какъ-то за Шекспира, за Гете, за Гоголя, и уже не кажется авторитетной его высокая оценка высокихъ: становится подоэрителенъ Бълинскій даже и тамъ, гдъ онъ правъ; вообще, его неправда компрометируеть его правду.

По мнѣнію г. Бродскаго, мои упреки, что Бѣлинскій «высоко цѣнилъ» Вельтмана, «малоосновательны». Но неужто, въ самомъ дѣлѣ, «малоосновательно» упрекать нашего критика въ томъ, что, какъ я указалъ въ своей статъѣ, онъ романъ Вельтмана «Искендеръ» называлъ «однимъ изъ драгоцѣннѣйшихъ алмазовъ нашей литературы»? Впослѣдствіи «богатѣйшимъ, роскошнѣйшимъ алмазомъ» онъ считалъ пушкинскаго «Каменнаго Гостя,»—ювелиръ, не отличающій подлинныхъ алмазовъ отъ поддѣльныхъ!..

Если, какъ въ возраженіе мніз отмічаетъ Н. Л. Бродскій, этотъ отзывъ о Вельтмант у Бізлинскаго—«самый рацній» (1834 г., въ знаменитыхъ «Литературныхъ мечтаніяхъ»), то отсюда не слідуетъ все-таки, что я въ своемъ упректа неправъ; къ тому же, Бізлинскій и въ конціз своей дізятельности, въ 1847 году (въ стать въ «Взглядъ на русскую литературу 1846 г.»), даже перечисляя недостатки Вельтмана, признаетъ въ немъ «безспорно одинъ изъ замізчательнізйшихъ талантовъ нашего времени».

Г. Бродскій думаєть, что если бы я внимательніве прочель отзывь Бълинскаго о «Сцень изь Фауста», то эта внимательность мое «странное» мивніе, будто критикь не поняль, не оцвниль названной пьесы, сильно «сократила» бы (развѣ мое мивніе—длинное?) или даже «совсѣмъ уничтожила».

Какъ мнѣ доказать, что я читалъ вполнѣ внимательно? Но и Н. Л. Бродскій не докажеть, что у Бѣлинскаго пѣтъ тѣхъ резюмирующихъ словъ о «Сценѣ», которыя я привелъ въ своемъ очеркѣ: «(не смотря на то, пьеса эта) написана ловко и бойко и потому читается легко и съ удовольствіемъ». «Не смотря на то», т.-е. не смотря на свои недостатки, сцена «написана ловко и бойко» и т. д.: значить, въ послѣднихъ словахъ, въ заключеніи Бѣлинскаго, содержится самое похвальное, самое смягчающее, что онъ можетъ противопоставить изъянамъ произведенія, то предѣльно-снисходительное, что онъ

можеть сказать о твореніи, которое, на мой скромный взглядь, глубокомысленно и въще, достойно Гете и достойно Пушкина (Бѣлинскій же говорить еще, что хотя Сцена «написана удивительно легкими и бойкими стихами, но между ею и Гетевымъ «Фаустомъ» нъть ничего общаго»). Если бы даже Бълинскій быль правъ, со свойственной ему излишней чуткостью къ запросамъ «нашего времени» утверждая, что это «наше время», «знакомое съ демономъ другого поэта» (Лермонтова) «съ улыбкой смотритъ на Пушкинскаго чертенка» и пушкинскому Мефистофелю предпочитаетъ «демона движенія, въчнаго обновленія, въчнаго возрожденія», того «въ сущности преблагонам'вреннаго демона», который, если и «губитъ иногда людей и дълаетъ несчастными цълыя эпохи, то не иначе, какъ желая добра человъчеству и всегда выручая его», -- если бы, говорю я, Бълинскій быль и правъ въ этомъ наивномъ пониманін демонизма, какъ доброты, благонам вренности и прогресса, то и въ такомъ случать, вопреки Н. Л. Бродскому (который свое возражение мнъ обосновываетъ ссылкою на указанную концепцію демона у Бълинскаго), это и не «сократило» бы, и не «уничтожило» бы моей мысли о томъ, что знаменитый комментаторъ Пушкина «Сценъ изъ Фауста» никакого серьезнаго значенія не придавалъ.

Н. Л. Бродскій полагаєть, что если бы я «захотъль быть безпристраєтнымь» и не строиль своего заключенія о взглядъ Бълинскаго на Баратынскаго «по поводу отзыва Бълинскаго только объ одномъ стихотворсніи этого поэта», то я не сказать бы, будто первый «ужасающе не поняль мудраго Баратынскаго».

Во-первыхъ, свое заключеніе объ отношеніи критика къ поэту я вывель не изъ одного отзыва Бълинскаго объ одномъ стихотвореніи Баратынскаго, а изъ всего, что первый писалъ о послъднемъ (преимущественно же — изъ статьи Бълинскаго 1842 г.: «Стихотворенія Евгенія Баратынскаго»). Г. Бродскій

не замътилъ въ моей фразъ дъйствительно маленькаго словаи. Фраза эта читается такъ: «Онъ ужасающе не понялъ мудраго Баратынскаго и, если въ 1838 г. называлъ его стихотвоніе Сначала мысль воплощена въ поэму сжатую поэта-истинной творческой красотою, необыкновенной художественностью», то въ 1842 г. про это же стихотвореніе отзывался»... (очень отрицательно). Союзъ и только исполнилъ здъсь свою прямую обязанность - соединилъ одну мысль съ другой. То, что слъдуеть у меня послъ и, говорить не о непониманіи Бълинскимъ Баратынскаго, а-правда, въ связи съ этимъ-о присущей нашему критику измѣнчивости оцѣнокъ; тѣ же шесть словъ, которыя седьмому слову и у меня предшествують («онь ужасающе не понялъ мудраго Баратынскаго»), содержать въ себъ выводъ, повторяю, какъ изъ всъхъ рецензій Бълинскаго на Баратынскаго, такъ и изъ той полемической литературы объ этихъ рецензіяхъ, съ которой я познакомился у Андреевскаго, у Саводника, у Венгерова.

Принятая мною форма «силуэта» даеть мнъ право на сжатость и право не показывать своей предварительной черновой работы. Но воть она же, эта моя излюбленная манера, привела меня теперь къ непроизводительной тратъ времени, такъ какъ въ предлагаемой брошюръ мнъ почти только то и приходится дълать, что развертывать сосредоточенныя предложенія своего первоначальнаго этюда. Правда, г. Бродскій именно въ сжатости мнъ вообще отказываетъ (чтобы въ ея отсутствіи у меня убъдиться, для этого, по его словамъ, надо бы переписать всъ мои Силуэты); мою ръчь, какъ автора, онъ называетъ «многоглаголивой». Но, можеть быть, Н. Л. Бродскій не потребуеть, чтобы въ подтверждение его приговора былъ переписанъ какъ разъ мой силуэть Бълинскаго? Можеть быть, въ видъ исключенія, онъ согласится, что по крайней мъръ этоть очеркъ скоръе страдаетъ излишней лаконичностью, чъмъ заслуживаетъ упрека въ многословности? Въдь недаромъ же другіе оппоненты корять меня моими четырнадцатью страничками.

Во-вторыхъ, если Бълинскій, какъ и я, признавалъ Бара-

тынскаго поэтомъ мысли и находилъ его языкъ сжатымъ (что, въ возражение мнъ, напоминаетъ г. Бродскій), то отсюда еще далеко не следуеть, что Белинскій Баратынскаго поняль. Такія особенности въ авторъ «Истины» подмъчали многіе; и не подмътить ихъ грамотному человъку нельзя (да и самъ поэть говорить о нихъ въ своей лирикъ). Подобныя сужденія лишь констатирують факть, но сами по себъ еще не ведуть къ его пониманію и оцітнюю и совпаденіе такихъ элементарностей у разныхъ критиковъ ничего не доказываетъ и ни къ чему не обязываеть. Самъ же г. Бродскій, усматривающій приведенную черту сходства во мнъніяхъ о Баратынскомъ у Бълинскаго и у меня, справедливо утверждаетъ однако, что въ общемъ пониманіи поэзіи Баратынскаго я съ знаменитымъ критикомъ расхожусь. На непререкаемость именно своей оцънки я, вопреки г. Бродскому, конечно, не притязаю; но интересно отметить, что какъ разъ вопросъ объ отношении Белинскаго къ Баратынскому теперь наименъе споренъ. Такъ, одинъ изъ глубокихъ почитателей Бълинскаго, одинъ изъ сильнъйшихъ моихъ противниковъ, г. Ивановъ-Разумникъ говоритъ, къ моему удовлетворенію, слъдующее: «Бълинскій не оцъниль Баратынскаго-странно было бы стремиться это затушевывать... Главное въ Баратынскомъ все же не было выявлено въ критикъ Бълинскаго» (Собр. сочин. В. Г. Бълинскаго, II, 538 - 539). Въ только что выпушенномъ Академіей Наукъ собраніи сочиненій Баратынскаго его біографъ, г. М. Л. Гофманъ, на стр. LXXVIII перваго тома, замъчаеть: «Больно задъвали самолюбіе поэта неодобрительные отзывы о немъ Бълинскаго и критиковъ, вторившихъ Бѣлинскому».

А если, какъ цитируетъ Н. Л. Бродскій, тотъ же Бълинскій сказалъ, что «изъ всъхъ поэтовъ, появившихся вмъстъ съ Пушкинымъ, первое мъсто безспорно принадлежитъ г. Баратынскому», то это лишь подтверждаетъ тъ совершенно исключительныя противоръчивость, легкомысленность и праздность сужденій Бълинскаго, которыя, въ данномъ случаъ, позволяли ему на ряду съ такимъ приближеніемъ Баратынскаго

къ Пушкину писать, что «теперь даже и въ шутку никто не поставить имени г. Баратынскаго подлѣ имени Пушкина»; что Баратынскій ниже Козлова и что муза Баратынскаго — «свѣтская, паркетная»; что Баратынскаго слѣдуетъ назвать въ числѣ тѣхъ писателей, относительно которыхъ нашъ непостоянный критикъ вопрошастъ: «И гдѣ же они теперь, гдѣ ихъ слава, кто говоритъ о нихъ, кто помнитъ? Не обратились ли они въ какія-то темныя преданія?» (Письма, ІІІ, 304). Вѣдь одна изъ основныхъ идей моего оспариваемаго силуэта въ томъ и заключается, что у Бѣлинскаго есть все и что въ этомъ—его и наше пссчастье.

То, что Бълинскій, какъ соглашается Н. Л. Бродскій, въ 1836 году «Скупого Рыцаря», подписаннаго буквой Р., не распозналь («отрывокъ переведенъ хорошо, хотя, какъ отрывокъ, и ничего не представляетъ для сужденія о себъ»), -- это только для г. Бродскаго, а не для меня, искупается тъмъ, что «уже въ 1838 году» критикъ считалъ драму Пушкина «лучшимъ созданіемъ», «сохранивъ этоть взглядъ до конца жизни». Въ 1838 году... Тогда уже было извъстно, что «Скупой Рыцарь» принадлежить не Р., а Пушкину; тогда уже многіе восторгались этой красотою. И такъ какъ въ моихъ глазахъ Бълинскій-мыслитель, необычайно внушаемый, то я никакой заслуги съ его стороны и не вижу въ томъ, что онъ перемънилъ свое прежнее изумительное мнъніе. Воть если бы «лучшее созданіе» было отм'вчено, какъ такое, при жизни поэта, въ 1836 году; если бы тогда Бълинскій разслышалъ Пушкина: если бы тогда донесся до его сердца этоть голось «шуму водъ подобный»!..

Н. Л. Бродскій (изъ всѣхъ моихъ оппонентовъ наиболѣе богатый фактическими указаніями,—оттого я такъ долго и бесѣдую съ нимъ), — Н. Л. Бродскій пишетъ дальше: «Ю. И. Айхенвальдъ не замѣтилъ (!), что Бѣлинскій — авторъ статей

о Гоголъ, Кольцовъ, Лермонтовъ, Пушкинъ, что онъ по одному стихотворенію М. предсказалъ талантъ А. Майкова, что онъ первый привътствовалъ Тургенева, Гончарова, Достоевскаго, Григоровича, Некрасова, Искандера-Герцена, объяснилъ ихъ, разсыпавъ до сихъ поръ неумершія замъчанія объ индивидуальной силъ каждаго дарованія».

Я понимаю, отчего послѣ словъ «не замѣтилъ» мой рецензенть поставиль восклицательный знакь; въ самомъ дѣлѣ, было бы удивительно, если бы я не замътилъ, авторомъ какихъ статей является Бълинскій и что онъ говориль о каждомъ изъ перечисленныхъ писателей. Но для такого удивленія н'єть повода, потому что «до сихь поръ неумершія замѣчанія» Бѣлинскаго о разныхъ авторахъ я помнилъ; именно поэтому въ своей стать в и сказалъ, что у него были «отдъльныя правильныя концепціи, отдъльныя върныя характеристики»: что «конечно, были у него и правильныя догадки, были върныя оцънки»; что «иногда загораются у него мысли и слова, которыя надо только привътствовать и запомнить»; что «не только оть его дурного, но и оть его хорошаго, разсыпались мысли, разсъялись по русской землъ яркія искры»; что онъ высказывалъ «много втрныхъ и цтнныхъ идей о сущности красоты, о первенствъ формы, о творческомъ элементъ критики»... По поводу, въ частности, Гоголя я выразился, что о немъ, какъ и о Пушкинъ, какъ и о Грибоъдовъ, какъ и о Лермонтовъ, Бълинскій выказалъ уклоненія и ошибки — «на ряду съ върными сужденіями» (этимъ я отвъчаю и на фактически-невърный упрекъ г. Ч. В-скаго, будто я «ни словомъ не упомянулъ о положительномъ, -- напр., роли Бълинскаго въ установленіи художественной славы Гоголя и т. п.»). Воть почему нельзя возражать мнъ ссылкой на хорошее и цънное у Бълинскаго, - я самъ его не отрицалъ; спорить можно только о томъ, правильно ли я соблюлъ пропорціи, върно ли распредълилъ свъть и тъни, такъ ли намътилъ плюсы и минусы знаменитаго критика (къ этому вопросу я вернусь ниже).

Итакъ, мимо сдъланнаго г. Бродскимъ перечня я могъ бы пройти, потому что этотъ перечень—не возраженіе на мою характеристику Бълинскаго; но въ интересахъ дъла я всетаки о нъкоторыхъ названныхъ именахъ нъсколько словъскажу.

Съ какими существенными, а иногда и роковыми, оговорками должно признать, что Бълинскій оцъниль Пушкина, Лермонтова, Достоевскаго, Гончарова,—на это я уже указываль; въ примъненіи къ Пушкину и Лермонтову я объ этомъ и еще выскажусь потомъ.

Что касается Гоголя, то въ защиту своей мысли, что относительно него, какъ и относительно Пушкина, Лермонтова, Грибоъдова, върныя сужденія Бълинскій, критикъ ненадежный, человъкъ шаткаго ума и колеблющагося вкуса, выражалъ въ перемежку съ уклоненіями, ошибками, отступленіями,—я напомню хотя бы слъдующіе факты:

1. Въ письмъ Бълинскаго къ Боткину (11, 295) мы читаемъ: «Страшно подумать о Гоголъ: въдь во всемъ, что им писалъ—одна натура, какъ въ животномъ. Невъжество абсолютное! Что онъ наблевалъ о Парижъ-то»!

II. Было время (1835 г.), когда Бълинскій не только заявлялъ: «я... пока еще не вижу генія въ г. Гоголъ», но и о «Портретъ» утверждалъ, что «эта повъсть ръшительно никуда не годится» (Сочин., подъ ред. Венгерова, II, 101).

111. Въ 1840 г. Бълинскій готовъ быль не ставить Гоголя ниже Вальтеръ Скотта и Купера, но (справедливо) быль для него Гоголь «не русскій поэть въ томъ смыслъ, какъ Пушкинъ, который выразилъ и исчерпалъ собою всю глубину русской жизни», и въ созданіяхъ Гоголя (несправедливо) видълъ нашъ критикъ только «Тараса Бульбу» (котораго «можно равнять» съ пушкинскимъ творчествомъ) и находилъ, что это произведеніе «выше всего остального, что напечатано изъ сочиненій Гоголя» (Письма, 11, 137—138).

1V. Когда Юрій Самаринъ глубоко-правильно и глубокопрозорливо написалъ, что Гоголь въ «глухой безцвътный

міръ» своего творчества «первый опустился какъ рудокопъ» и что «съ его стороны это было не одно счастливое внушеніе художественнаго инстинкта, но сознательный подвигь ців--лой жизни, выражение личной потребности внутренняго очищенія», то надъ этими прекрасными и пропикновенными словами Б'єлинскій въ своемъ «Отв'єт Москвитянину» плоско издъвался, — т. е., значить, охарактеризованной Самаринымъ сущности и трагедін Гоголя не поняль. Такъ же насмѣшливо отвергалъ онъ и върную мысль о существенномъ отличіи Гоголя отъ натуральной школы. Правда, въ частномъ письмъ къ Кавелину, который возражалъ Бълинскому и защищалъ Самарина, нашъ знаменитый критикъ, обычно признаваемый за идеалъ искренности, такъ поучалъ своего корреспондента: «На счетъ вашего несогласія со мною касательно Гоголя и натуральной школы, я вполнъ съ вами согласенъ, да и прежде думалъ такимъ же образомъ.-Вы, юный другъ мой, не поняли моей статьи, потому что не сообразили, для кого и для чего она писана. Дъло въ томъ, что писана она не для васъ, а для враговъ Гоголя и натуральной школы, въ защиту отъ ихъ фискальныхъ обвиненій, Поэтому, я счель за нужное сдълать уступки, на которыя внутренно и не думаль соглашаться, и кое-что изложиль въ такомъ видъ, который мало имъетъ общаго съ моими убъэжденіями касательно этого предмета (курсивъ мой, Ю. А.)... Вы, юный другъ мой, хорошій ученый, но плохой политикъ» (Письма, III, 299), Но неужто Бълинскій въ самомъ дълъ преднамъренно соглашался выступить дурнымъ критикомъ, лишь бы оказаться хорошимъ политикомъ? Мнъ хотълось бы защитить его отъ него самого; мив хотвлось бы думать, что неискренень быль Бълинскій въ письмѣ, а не въ печати, что онъ не ръшился бы сознательно обмануть въ литературъ, тяжко согръщить противъ Слова...

По отношенію къ Тургеневу надо зам'єтить, что (какъ объ этомъ упоминаетъ и Достоевскій въ цитированномъ уже письм'є къ Страхову), Бізлинскій отказываль ему въ «талантъ чистаго творчества», въ уміть «создавать характеры, ставить

ихъ въ такія отношенія между собою, изъ какихъ образуются сами собою романы или повъсти» (Сочин. подъ ред. Иванова-Разумника, 111, 994). Въ «Уъздномъ лъкаръ» критикъ «не понялъ ни единаго слова» и въ «Малиновой водъ» «ръшительно не понялъ Степушки» (Письма, 111, 337).

По отношенію къ Некрасову надо зам'єтить, что о первыхъ его стихотвореніяхъ Б'єлинскій даль очень презрительный отзывъ, и начинающій поэтъ угнетенно прочелъ о себ'є: «посредственность въ стихахъ нестерпима» (Сочиненія подъ ред. Венгерова, V, 221).

Шагъ за шагомъ покорно слъдуя моему оппоненту, я подхожу къ той тирадъ Н. Л. Бродскаго, которую онъ самъ считаетъ крайне важной, почему и печатаетъ ее курсивомъ: «лучшими страницами своихъ силуэтовъ Ю. И. Айхенвальдъ обязанъ Бълинскому, свое правильное, напр., о Пушкинъ, Лермонтовъ онъ получилъ отъ «неистоваго Виссаріона» (стр. 18).

Я думаю, что какъ лучшими, такъ и худшими страницами своихъ «Силуэтовъ» я обязанъ самому себъ. Но умъстнъе было бы этого вопроса совсъмъ не поднимать. И здъсь я долженъ отмътить, что вообще г. Бродскій въ своей рецензіи удъляетъ мнъ слишкомъ много незаконнаго вниманія: онъ касается не только моего этюда о Бълинскомъ (въ чемъ состояла бы его прямая и единственная задача), но и всей моей литературной дъятельности въ ея цъломъ. При этомъ Н. Л. Бродскій остроумно пользуется методомъ попугая: онъ какъ бы передразниваетъ меня и повторяетъ едва ли не всъ упреки, которые я дълаю Бълинскому,-но уже въ примъненіи ко мнъ; «остріе» моихъ подлинныхъ словъ, укоряющихъ знаменитаго критика, онъ методически обращаетъ противъ меня самого, забывая, что Бълинскій — самъ по себъ, а ясамъ по себъ. Это упорное сопоставление Бълинскаго и Айхенвальда такъ настойчиво проходить черезъ всю его статью, что рецензенть Русскихъ Вльдомостей г. И. Игнатовъ въ своемъ отзывъ о ней отъ 26 февр. 1914 г. какъ разъ въ этомъ и уви-

даль ея основное содержаніе, ея центральный тезись: «обвиненія г. Айхенвальда, направленныя противъ Бълинскаго, - самообвиненія». Оттого, что мой оппоненть неуклонно держится такого пріема, даже возникаетъ сперва очень обидное для г. Бродскаго предположеніе, будто великимъ критикомъ опъ считаеть не только Бълинскаго, но и меня. И дъйствительно, лишь при этомъ условіи, лишь при этой предпосылкъ, его полемическая метода получаеть смыслъ. Иначе что же? Допустимъ на минуту, что во всъхъ недостаткахъ, которые онъ мнъ приписываеть, я въ самомъ дълъ повиненъ. Такъ въдь я Бълинскому не указъ. Такъ въдь изъ тоге, что я тоже плохъ, не следуеть, что хорошь Белинскій. Но то предположеніе, о которомъ я только что говорилъ, къ счастью (или къ логическому несчастью) г. Бродскаго, скоро и безъ слъда разсъивается, и мой оппоненть выносить мив, какъ писателю, во истину смертный приговоръ. Набрасывая мой литературный силуэть, Н. Л. Бродскій не только приходить къ выводу, что меня характеризують органическая непричастность къ искусству, эстетическое безвкусіе, изумительная непонятливость и бъдность мыслью, но, какъя и раньше отмътилъ, кромъ интеллектуальнаго, онъ убиваетъ и мой моральный образъ, лишаетъ меня писательской честности, и въ заключеніи его статьи я буквально оказываюсь мертвой душою, человъкомъ на закатъ духовной жизни, жертвой духовной старости, дремоты, нравственнаго опустошенія и опошленія. Такъ если я, въ пониманіи Н. Л. Бродскаго, таковъ, то удивительно ли, что я не менъе дуренъ, чъмъ Бълинскій, и надо ли меня вообще тогда съ Бълинскимъ сопоставлять, и можно ли его мърить мною?

Читатели понимають, что въ своей брошюръ, посвящениой вопросу о Бълинскомъ, я не могу разбирать тъхъ постороннихъ нареканій, которыя щедро направляетъ г. Бродскій противъ другихъ моихъ статей, противъ моего писательства вообще. Мнъ было бы даже пріятно поговорить о себъ, показать, какъ мнимы тъ противоръчія, въ которыхъ уличаетъ меня мой рецензентъ, на какихъ довольно элементарныхъ,

недоразумъніяхъ основаны его упреки, --но я не имъю права этимъ заниматься, потому что это къ пълу не относится и ръчь идеть не обо мнъ, а о Бълинскомъ. Себя я въ правъ защищать лишь постольку, поскольку это находится въ прямой и непосредственной связи съ моей характеристикой послъдняго. Развъ еще вотъ фактическія ошибки г. Бродскаго я обязанъ исправить. Съ одной я уже это сделалъ выше (по поводу Тютчева). Вторая состоить въ слъдующемъ: увъряя, что я «ни на что иное не годенъ, какъ на елейныя молитвы», и приписывая мнъ странную мысль, будто я отрицаю, что «красота не только во вселенной, но и въ борьбъ, въ общественныхъ движеніяхъ» (точно борьба и общественныя движенія помъщаются внъ вселенной), г. Бродскій къ этому послѣднему мѣсту своей рецензіи д'влаеть такую выноску: «см. отрицательное отношеніе г. Айхенвальда къ «народничеству» (вып. II, 163)»; я посмотрълъ, не безъ тревоги, и увидълъ, что Н. Л. Бродскій ссылается на мои слова о тургеневскомъ Неждановъ: «отъ хожденія въ народъ ушелъ эстетикъ Неждановь въ смерть (правда, - для отрицательно отношенія къ хожденію достаточно было бы одного ума, а не эстетики)»; итакъ, мой рецензентъ пишеть и береть въ кавычки «народничество» тамъ, гдъ у меня сказано «хожденіе въ народъ»; итакъ, онъ ужасающе смъшиваетъ великое философское, соціальное и литературное направленіе народничества съ тъмъ «хожденіемъ», которое осудилъ самъ Тургеневъ и которое представляло собою маскарадъ, по истинъ, водевиль съ переодъваніемъ, трагическій водевиль...

Возвращаюсь къ напечатанной курсивомъ цитатъ изъ Н. Л. Бродскаго и къ тому, что за нею и что изъ нея слъдуетъ. На итсколькихъ пунктахъ, очень важныхъ, мой оппонентъ доказываетъ, что я схожусь съ Бълинскимъ въ оцънкъ Пушкина, что «общее представленіе о великомъ поэтъ» иногда «до буквальнаго тождества» у меня—такое же, какъ и въ знаменитомъ «восьмомъ томъ». Изъ этого онъ дълаетъ выводъ, что я «не имълъ никакого права обвинять Бълинскаго, будто тотъ « не вмъстилъ Пушкина». Ясно, однако, что выводъ неправи-

ленъ; ясне, что въ устахъ г. Бродскаго онъ былъ бы правиленъ лишь въ томъ случаѣ, если бы мой противникъ считалъ меня великимъ критикомъ, считалъ меня вмѣстившимъ Пушкина, считалъ мое слово о Пушкинѣ исчерпывающимъ, послѣднимъ,—такимъ, дальше и глубже котораго идти нельзя. Но вѣдь ничего подобнаго г. Бродскій не думаетъ, и поэтому изъ его посылокъ логика позволила бы ему сдѣлатъ лишь то заключеніе, что, если я совпадаю съ Бѣлинскимъ, значитъ—я тоже не вмѣстилъ Пушкина, я тоже недостаточно глубокъ и зорокъ, я тоже Пушкина всецѣло не постигъ,—и съ этимъ заключеніемъ я долженъ былъ бы вполнѣ искренне, хотя и смущенно, согласиться. Тотъ же силлогизмъ, который строитъ мой критикъ, критики не выдерживаетъ.

Г. Бродскій говорить о себъ: «мы не настолько наивны, чтобъ объяснять тождественныя оцънки ученичествомъ Ю. И., «списываніемъ», но должны напомнить, что, по признанію самого Ю. И. Айхенвальда, «духъ Бълинскаго виталъ въ классахъ его школы, носился надъ тетрадями его сочиненій, проникалъ въ юношеское сердце его», и безсознательно глубоко овладълъ имъ и въялъ надъ нимъ, когда онъ, быть можеть. отмахивался, отбивался...» (стр. 23).

То, въ чемъ я признался, передано Н. Л. Бродскимъ вѣрно; но, чтобы я отъ Бѣлинскаго «отмахивался, отбивался»,—это невѣрно. Вліяніе на себя прославленнаго критика я помню и объективно подтвердилъ это тѣмъ, что въ своихъ писаніяхъ не однажды его называю; я даже могу датъ г. Бродскому лишнее оружіе противъ себя (т. е. то, что онъ считаетъ противъ меня оружіемъ) и напомнить ему, что именно въ своей книгѣ о Пушкинѣ я Бѣлинскаго сочувственно цитирую (стр. 78). И какъ разъ потому, что эте вліяніе я въ себѣ хранилъ, къ спеціальному изученію Бѣлинскаго я въ самомъ дѣлѣ подошелъ «предвзято» (въ чемъ справедливо упрекаютъ меня оппоненты); но только предвзятость моя была совсѣмъ не та, о какой они говорятъ: она была ев пользу Бѣлинскаго; надо мной рѣяли свѣтлыя юношескія впечатлѣнія,—оттого и вышла такъ сильна

горечь моего разочарованія... О своихъ субъективныхъ настроеніяхь, впрочемь, я здісь говорить не должень. А что Бълинскій за энергичное утвержденіе интереса къ русской книгъ, за самый фактъ своего труднаго журналистскаго дъла, за то хорошее, что все-таки носилось отъ его страницъ и отъ его стилизованнаго лица, - что за все это онъ, несмотря на свои огромные недостатки, заслуживаеть не только моей личной благодарности (въ мнимомъ отсутствіи которой меня укоряють г. Бродскій и другіе), но и, что несравненно важиве, благодарности исторической, -объ этомъ я вполив опредвленно самъ сказалъ на 13 и 14 страницахъ своего очерка. И напрасно думаетъ подозрительный г. Ивановъ-Разумникъ, что патрономъ учителей русской словесности я назвалъ Бълинскаго «презрительно»; да ужъ и потому не приходится мнѣ учителей русской словесности «презирать», что я самъимъю честь принадлежать къ ихъ числу. И я отъ всей души привътствую слова г. Евг. Ляцкаго: «если бы онъ (Бълинскій) не написаль ни слова и только прошелъ по стогнамъ міра світмящимся человъкомъ, то и тогда никто изъ людей, знавшихъ цъну великому и прекрасному, не сказалъ бы, что жизнь Бълинскаго протекла безплодно»; я эти возвышенныя слова тъмъ болъе привътствую, что въдь ни я, да и никто другой, кажется, не говорилъ, будто жизнь Бълинскаго протекла безплодно.

Но я обязанъ все-таки указать, что въ самомъ существенномъ и главномъ я, вопреки гг. Бродскому и Иванову-Разумнику, во взглядахъ на Пушкина съ Бълинскимъ расхожусъ. Сходства здъсь меньше, чъмъ разницы. И это можно видъть именно на томъ примъръ, который особенно выдвигаютъ гг. Бродскій и Ивановъ-Разумникъ, — на вопросъ о томъ, какъ оцънилъ Бълинскій дивную всеотзывность Пушкина. Мои критики соотвътственными цитатами указываютъ, что знаменигый авторъ «восьмого тома» какъ разъ на ней и настаивалъ, подобно тому какъ на ней же настаиваю я. По выраженію г. Иванова-Разумника, я Бълинскаго же «добромъ быо ему челомъ»; категорически заявляетъ мой противникъ, что свою мысль объ

этой чертъ нашего великаго поэта я «заимствовалъ» именно у Бълинскаго.

Если бы мнѣ позволили сдѣлать недоступное провѣркѣ автобіографическое заявленіе, то я сообщиль бы, что, во-первыхъ, идея о всечеловѣчности Пушкина гораздо сильнѣе поразила меня когда-то у Достоевскаго, у Гоголя, у Ключевскаго, чѣмъ у Бѣлинскаго, и что, во-вторыхъ, свою мысль я въ концѣ концовъ заимствовалъ у самого себя; еще вѣрнѣе сказать, что когда читаешь Пушкина, напримѣръ—его «Эхо», то впечатлѣніе всесторонней отзывчивости невольно возникаетъ у каждаго само собою.

То «по истинъ поразительное мъсто», про которое г. Ивановъ-Разумникъ сказалъ, что я возвращаю Бълинскому его же добро, и которое съ моей стороны «невъроятно, но фактъ»,— это мъсто моего этюда читается такъ: «Дивная всеотзывность Пушкина, то, что порождаетъ передъ нимъ благоговъйное изумленіе, то, что для него наиболъе характерно,—это внушаетъ критику (Бълинскому) такія строки: «поэтическая дъятельность Пушкина удивляетъ своею случайностью въ выборъ предметовъ».

И, полный негодованія, на эти слова мои воть какъ откликается г. Ивановъ-Разумникъ: «И все! И больше ни слова! Ни о томъ, откуда взята эта «случайная» фраза Бълинскаго, ни о томъ, когда и въ какомъ контекстъ она сказана...! Довольно!»

Нътъ, не довольно: я сейчасъ укажу г. Иванову, откуда и изъ какого контекста взята мною фраза Бълинскаго,—и послъ этого также и г. Бродскій увидить, что между моимъ прославленіемъ вссотзывности Пушкина и ея характеристикой у зиаменитаго критика есть глубокое различіе.

Въ 1843 г. зрѣлый Бѣлинскій въ «Отечественныхъ Запискахъ», заявивъ: натура Пушкина была «до того артистическая, до того художественная, что она и могла быть только такою натурою, и ничѣмъ больше», продолжаетъ: «Отсюда проистекаютъ и великія достоинства, и великіе недостатки поэзіи Пушкина. И эти недостатки, не случайные, а тъсно связанные съ достоинствами, необходимо условливаются ими такъ же, какъ лицо необходимо условливаетъ собою затылокъ: потому что у кого есть лицо, у того не можеть не быть затылка... Это только лицевая сторона поэзіи Пушкина: взгляните на нее съ другой стороны, и васъ поразитъ ея объективностькачество, столь превозносимое непонимающими его настоящаго значенія людьми и столь близкое къ нравственному индиферентизму, — отсутствіе одного преобладающаго убъжденія, а иногда даже устарълость во мнъніяхъ и странные предразсудки. Таковъ необходимо долженъ быть (особенно въ наше время) всякій художникъ, который только художникъ (т. е. вмъстъ съ темъ не мыслитель, не глашатай какой-нибудь могучей думы времени)... Поэтическая д'вятельность Пушкина удивляеть своею случайностью въ выборъ предметовъ... Не спрашивайте: какое отношеніе, какую связь им'єють всё эти произведенія («Борисъ Годуновъ», «Пъсни западныхъ славянъ», «Каменный гость») съ русскимъ обществомъ, съ русскою дъятельностію? Несмотря на глубоко національные мотивы поэзіи Пушкина, эта поэзія исполнена духа космополитизма, именно потому, что она сознавала самое себя только какъ поэзію и чуждалась всякихъ интересовъ внъ сферы искусства. И вотъ причина, почему русское общество вдругь охладъло къ своему великому, своему дотоль любимому поэту, какъ скоро онъ достигь аповеоза свосго художническаго величія. Общество въ этомъ случа в и право и неправо-право потому, что не всъмъ же быть дилеттантами и знатоками искусства; неправо потому, что Пушкинъ ис могъ же въ угоду ему измѣнить своего великаго призванія-водворить поэзію, какъ искусство, въ жизни русской... Какъ творецъ русской поэзін, Пушкинъ на въчныя времена останется учителемъ (maestro) всъхъ будущихъ поэтовъ; но если бъ кто-нибудь изъ нихъ, подобно ему, остановился на иде'в художественности, -- это было бы яснымъ доказательствомъ отсутствія геніальности, или великости таланта» (Сочиненія В. Бѣлинскаго, часть седьмая, изд. четвертое 1883 г. стрр. 365—367).

Такимъ образомъ, что для меня—проявленіе нравственнаго универсализма, то для Бѣлинскаго—нѣчто близкое къ нравственному индиферентизму, устарѣлость во мнѣніяхъ и странные предразсудки; что для меня—преодолѣніе временъ и пространствъ, поэтическое вездѣсуцціе, всечеловѣчность и всеотзывность, то для Бѣлинскаго—случайность въ выборѣ предметовъ; что для меня въ Пушкинѣ—лицо, божественное лицо, то для Бѣлинскаго—затылокъ. Тѣ, которые находятъ, что между лицомъ и затылкомъ есть разница, должны признать, что есть разница и въ оцѣнкъ Пушкина у меня и у Бѣлинскаго.

Я могъ бы доказать существование такого же коренного различія и на нъсколькихъ другихъ пунктахъ, которые кажутся г. Бродскому точками соприкосновенія между Бълинскимъ и мною; но въ интересахъ краткости и обобщенности я этого не стану дълать; да и безътого слишкомъ ясно, что въ конечномъ постиженіи, въ опредъляющей концепціи Пушкина я съ авторомъ «Литературныхъ мечтаній» далеко не совпадаю -къ счастью для себя. Ибо никакими снадобьями нельзя вытравить у Бълинскаго роковыхъ строкъ, что «Пушкинъ принадлежить къ той школъ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европъ и которая даже у насъ не можеть произвести ни одного великаго поэта»; никакими истолкованіями его критики нельзя уничтожить его близорукаго мнѣнія, что у Пушкина нѣтъ мысли, глубины, міросозерцанія, что онь-«только» поэть, «только» художникь, что его поэзія не поднялась до «современнаго европейскаго образованія» и въ большинствъ своихъ произведеній не даетъ «удовлетворительнаго отвъта на тревожные, болъзненные вопросы настоящаго»; никогда не забудеть исторія русской литературы и культуры, что Бълинскій не принялъ Татьяны (а Пушкинъ безъ Татьяны, безъ ея принципа,-не Пушкинъ).

И воть, все то, что Бълинскій въ Пушкинъ отвергаеть,

я благоговъйно принимаю: неужели это не разница? А если многое у Пушкина онъ признавалъ и любилъ (многое такое, что впослъдствіи призналъ и полюбилъ и я), то это меня не опровергаетъ, потому что я и самъ это отмътилъ, и я не говорилъ, будто Бълинскій не цънилъ Пушкина: я опредъленно и ясно сказалъ, что опъ его не дооцънилъ.

Коль скоро ужь г. Бродскій такъ усердно занимаєтся сопоставленіемъ Бѣлинскаго со мною и меня съ Бѣлинскимъ, то и по вопросу о Лермонтовть мнѣ было бы нетрудно показать, что, при несомнѣнномъ сходствѣ во взглядахъ обоихъ сравниваемыхъ критиковъ на пѣвца Тамары, у меня все-таки въ общемъ—иное представленіе о творчествѣ Лермонтова, чѣмъ у Вѣлинскаго, и я никогда, въ противоположность послѣднему, не радовался мнимому отсутствію у нашего поэта «сродства съ рефлексіей» (Письма, 11, 68), и для моей характеристики лермонтовскаго духа крайне необходимъ тотъ самый «Ангелъ», котораго, какъ пѣчто нехарактерное и недостойнос, Бѣлинскій немилосердно изгонялъ.

Въ полемическомъ увлеченін противъ меня Н. Л. Бродскій не хочеть признавать даже того неоспоримаго факта, что Бълинскій измънилъ своему эстетизму, своей ранней формулъ: «поззія не имъетъ цъли внъ себя», что во второмъ періодъ своей литературной дъятельности онъ подчинилъ искусство общественной пользъ. И послъ ряда цитатъ, подтверждающихъ, что, даже въ стадію отрицанія за искусствомъ автономности, Бълинскаго все-таки «не покидало сознаніе цънности эстетическаго воспріятія художественныхъ произведеній», г. Бродскій удивленно замъчаетъ: «гдъ г. Айхенвальдъ нашелъ въ его сочиненіяхъ «вульгарный утилитаризмъ», какъ онъ могъ увидъть основную мысль Бълинскаго въ завершающій періодъ его работы—порабощеніе искусства», мы не знаемъ» (стр. 27).

Какъ жаль, что г. Бродскій этого не знаеть, и какъ

странно! Въдь я въ той самой статьъ, которую онъ оспариваеть, привелъ подлинныя слова Бълинскаго. Воть я ихъ повторю и дополню его же новыми словами: «...Нашъ въкъ враждебенъ чистому искусству, и чистое искусство невозможно въ немъ. Какъ во всъ критическія эпохи, эпохи разложенія жизни, отрицанія стараго при одномъ предчувствіи новаго,—теперь искусство—не господинъ, а рабъ: оно служитъ постороннимъ для него цълямъ». (Собр. соч. Бълинскаго подъ ред. Иванова-Разумника, т. II, стр. 963).

Итакъ, если Бълинскій утверждаетъ, что «теперь искусство— не господинъ, а рабъ», то не удивительно ли, что Н. Л. Бродскій не увидълъ здъсь порабощенія? И если Бълинскій утверждаетъ, что «каждый умный человъкъ вправъ требовать, чтобы поэзія поэта... исполнена была скорбыю... тяжелыхъ неразръшимыхъ вопросовъ», то не удивительно ли, что Н. Л. Бродскій думаетъ, будто лишь моя «ослъпленная предубъжденность» увидъла здъсь заказанную скорбь? (стр. 28). Я ли слъпъ?

Если, далъе, г. Бродскій не върить мнъ, что Бълинскій, какъ художественный критикъ, направилъ свои шаги отъ эстетики въ сторону вульгарнаго утилитаризма и что Писаревъ-его законный сынъ, то, быть можеть, онъ повърить въ этомъ своему соратнику по борьбъ со мною, одному изъ наибол ве сильныхъ и свъдущихъ отрицателей моей характеристики Б'влинскаго, г. Иванову-Разумнику? А г. Ивановъ-Разумникъ по поводу только что приведенныхъ словъ знаменитаго критика говорить слѣдующее: «Искусство не господинь, а рабь: эта лапидарная формула знаменуеть собою крайній предъль вь эволюціи взглядовь Бълинскаго на искусство; искусство служить постороннимь для него цълямь; это изреченіе послужило исходнымь пунктомь для построенія шестидесятниками своего рода утилитаристической эстетики (курсивъ мой. Ю. А.). Правда, Бълинскій оговаривается, что эти формулы его относятся только къ «критическимъ эпохамъ», но эта оговорка не мъняетъ общаго смысла формулъ: Бълинскій въ развитіи своихъ идей на искусство достигъ до крайней возможной точки отрицанія самоцюльнаго искусства и утвержденія служевной его роли (курсивъ мой. Ю. А.)... Взгляды Бѣлинскаго на искусство въ 1845 году и десятью годами раньше — это два полюса, двѣ крайности»... (Тамъ же, ІІ, 960).

Я подъ этой тирадой г. Иванова-Разумника только потому не подписываюсь объими руками, что всегда подписываюсь одной. И миъ очень пріятно, что въ данномъ пунктъ я могу безпечно не думать о самозащить, такъ какъ меня отъ г. Бродскаго могуче защищаетъ его авторитетный союзникъ, мой авторитетный противникъ.

Если же, наконецъ, Н. Л. Бродскій не върить все-таки ни мнъ, ни моему, хотя и минутному, единомышленнику, то ужъ несомнънно повъритъ онъ самому Бълинскому. А самъ Бълинскій воть что пишеть Боткину въ завершающій періодъ своего творчества и-увы! своей жизни: «...Мнъ поэзіи и художественности нужно не больше, какъ настолько, чтобы повъсть была истинна, т. е. не впадала въ аллегорію, или не отзывалась диссертацією. Для меня-дѣло въ дѣлѣ. Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатлъніе. Если она достигаеть этой цъли и вовсе безъ поэзіи и творчества, — она для меня томь не ментье интересна, и я ее не читаю, а пожираю... Разумъется, если повъсть возбуждаетъ вопросы и производить нравственное впечатлъніе на общество, при высокой художественности,тъмъ она для меня лучше; но главное-то у меня все-таки въ дълъ, а не въ щегольствъ. Будь повъсть хоть расхудожественна, да если въ ней нъть дъла-то, братецъ, дъла-то: је m'en fous. Я знаю, что сижу въ односторонности, но не хочу выходить изъ нея и жалъю и болью о тъхъ, кто не сидить въ ней» (Письма, III, 324).

Такъ вотъ, критикъ художества, который въ художественномъ произведеніи видитъ «дѣло» не въ художественности, а въ чемъ-то другомъ; который думаетъ, что въ созданіяхъ

художества художественность, это - щегольство; который требуеть, чтобы повъсть «главное, вызывала вопросы», - такой критикъ, на мой взглядъ, повиненъ въ элементарно - философской безграмотности и долженъ заниматься чъмъ угодно,только не критикой. А если вспомнить, что раньше этоть самый авторъ зналъ, гдъ выходъ изъ ненужной «односторонности», и самъ возвъщалъ простую и прозрачную истину: «искусство не должно служить обществу иначе, какъ служа самому себъ; пусть каждое идеть своей дорогой, не мъшая другъ другу»; если вспомнить, что ему были извъстны эстетическія идеи Шеллинга, Гегеля, Ретшера; если вспомнить, значить, что на высоть онъ быль, -- то, вопреки г. Бродскому, это неотразимо приведеть нась къ убъжденію, что Бълинскій упаль, оказался въ духоть и тыснинахь, или же что и прежде онъ широтъ и свободъ внутрение не сопричащался, мимо великаго прошелъ безнаказанно, истины какъ слъдуетъ себъ не усвоилъ.

Если бы онъ ее органически претворилъ въ себя, ему не пришлось бы «при видъ босоногихъ мальчишекъ, играющихъ на улицъ въ бабки, и оборванныхъ нищихъ, и пьянаго извозчика, и солдата, и чиновника, и офицера, и гордаго вельможи», -- ему не пришлось бы при видъ всей этой житейской обыденности задаваться сомнъніемъ; «и послъ этого имъеть ли право человъкъ забываться въ искусствъ и знаніи!» и восклицать: «начинаю бояться за себя-у меня рождается какая-то враждебность противъ объективныхъ созданій искусства» (что вмъняетъ ему въ высокую нравственную заслугу П. Н. Сакулинъ). Ибо тогда Бълинскій поняль бы, что объективныя созданія искусства какъ разъ и представляють собою, самымъ фактомъ своего существованія, одно изъ могучихъ средствъ противъ соціальнаго горя (какъ это понималъ, напримъръ, Глѣбъ Успенскій, который около Венеры Милосской поставилъ сельскаго учителя Тяпушкина, -и Венера, гордая, мраморная, «объективная», исцълила, «выпрямила» душу приниженнаго русскаго учителя, и онъ почувствовалъ свое аристократическое родство съ богиней красоты). Бълинскій поняль бы въ такомъ случать, что лишь тогда искусство—для жизни, когда искусство—для искусства; что никакого столкновенія между искусствомъ и жизнью нтъ и быть не можетъ и никакой эстетическій кодексъ (вопреки г. Ляцкому) не требуетъ «презртвнія къ грубой дъйствительности»; что надо только искусству быть самимъ собою, —остальное приложится, и оно, искусство, само уже войдетъ въ общую систему бытія.

Только это и было бы синтетически-возсоединяющимъ взглядомъ на искусство и жизнь; а то, что получилось у Бълинскаго, это, въ противность утвержденіямъ гг. Бродскаго и Сакулина, вовсе не есть «синтезъ обоихъ методовъ-эстетическаго и историко-соціологическаго» въ литературной критикъ (слова Н. Л. Бродскаго), вовсе не есть сочетание «проблемы объ искусствъ съ тъмъ великимъ цълымъ, которое называется жизнью человъческой» (слова П. Н. Сакулина): синтезъ не поступается ни однимъ изъ синтезируемыхъ элементовъ, а Бълинскій поступился художественностью и даже «расхудожественностью»: что же остается отъ искусства и для искусства? Мы знаемъ, что въ этомъ своеобразномъ «синтезъ» у Бълинскаго не оказалось надлежащаго мъста даже для Пушкина. И когда П. Н. Сакулинъ говорить, что въ эстетическую критику Б'влинскій внесь «также методы историческій и соціологическій», то хочется напомнить, что оть слова также синтезъ еще не получается.

Если же, какъ указываетъ Н. Л. Бродскій въ рядѣ цитатъ, сознаніе эстетическихъ цѣнностей никогда не покидало Бѣлинскаго вполнѣ, то здѣсь мой оппонентъ совершенно правъ; но вѣдь эти самыя цитаты и еще многія другія я именно и помінілъ, когда писалъ, что и послѣ того какъ Бѣлинскій направилъ рѣшительные шаги въ сторону вульгарнаго и наивнаго утилитаризма, его рѣшительность и на этотъ разъ, какъ всегда, оказалась «мимолетной», и «у него осталось кое-что отъ прошлаго, мелькали отблески прежняго эстетизма, мерцаніе покинутой истины». Противъ чего же, собственно

возражаеть г. Бродскій? Вѣдь вопрось сводится лишь къ тому, вѣрно ли мое утвержденіе, что во второй періодъ своей дѣятельности Бѣлинскій «въ общемъ и главномъ покорилъ искусство эпохѣ и ея соціальнымъ потребностямъ, лишилъ его свободы, обрекъ его на подчиненную и служебную роль» и что, хотя были у него «обычныя уклоненія отъ этой прямолинейности и обычныя новыя возвращенія къ ней,—но основная мысль Бѣлинскаго въ завершающій періодъ его работы, въ пору его зрѣлости, мысль, бѣгущая черезъ всѣ его тогдашніе зигзаги, это—порабощеніе искусства» (стр. 5 моего очерка). Мы уже видѣли, что на сторонѣ моего утвержденія—г. Ивановъ-Разумникъ и самъ Бѣлинскій со своимъ печальнымъ девизомъ: «искусство не господинъ, а рабъ».

Неуклонно изм'тряя Бтлинскаго мною, возвращая мнт тт упреки, которые я посылаю ему, Н. Л. Бродскій по поводу моего указанія, что знаменитый критикъ не имълъ своего знанія и своего мнѣнія, что Надеждинъ, Полевой, Станкевичъ, Бакунинъ, Боткинъ, Герценъ, Катковъ-всъ давали ему свъдънія, мысли и даже слова, по поводу этого мой рецензенть дълаеть «кстати» запросъ, не быль ли я самъ «слишкомъ усерднымъ читателемъ примъчаній С. А. Венгерова въ полномъ собраніи сочиненій Бѣлинскаго?» «Не только почти всъ «свъдънія», но и многія «слова» г. А. совпадають съ тъмъ, что и какъ указываетъ извъстный почитатель таланта и личности Бълинскаго: напр., мелочный фактъ, что Б. смъялся надъ тъми, кто выводитъ «трагедію» отъ «козла», отмъченъ у Венгерова въ V т., стр. 545; «безпощадная травля» Полевого на 13 стр. силуэта сливается съ выраженіемъ Венгерова-«безжалостная травля» Полевого, и мн. др.» (стр. 10 статьиброшюры г. Бродскаго).

Если бы я быль «слишком» усерднымь читателемь примъчаній С. А. Венгерова» къ Бълинскому и всъ мои «свъдънія» и многія «слова» совпадали съ тъмъ, «что и какъ ука-

зываеть извъстный почитатель таланта и личности Бълинскаго», то я и самъ, естественно, оказался бы такимъ почитателемъ, а этого справедливо не признаетъ г. Бродскій. И онъ не отдаеть себъ отчета въ томъ, что своею фразой причиняеть большую обиду не столько мив. сколько почтенному С. А. Венгерову. Дальше, если я за «свъдъніями» обращался между прочимъ и къ обстоятельному комментарио лучшаго знатока сочиненій Бълинскаго, то мнъ трудно понять, что же въ этомъ дурного. Правда, г. Бродскій тонко намекаетъ на то, что я совершилъ плагіатъ, -- но вотъ съ этимъ я никакъ не могу согласиться. Я думаю, что у г. Венгерова-свои слова, а у меня-свои. Если же отношение Б'ьлинскаго къ Полевому мы оба въ одномъ случав называемъ «травлей» (я—«безпощадной», а г. Венгеровъ—«безжалостной»), то это не потому, чтобы мн' не давали спать чужіе словесные лавры и я произвель литературное хишеніе, а по той самой причинъ, по какой, напримъръ, тотъ предметъ, которымъ я сейчасъ вожу по бумагъ, и я, и г. Венгеровъ именуемъ одинаково: перо, -- совпадение, нисколько не подозрительное. А что касается «козла», то могу увърить моего изобличителя, что 545-ой страницъ, на которую онъ ссылается, предшествуеть, какь это обыкновенно бываеть, страница 75-ая: на ней-то я «козла» и нашелъ, въ текстъ самого Бълинскаго. Тамъ же, гдъ опредъленный фактъ я, дъйствительно, взяль у г. Венгерова (свъдъніе о томъ, какія стихотворенія Лермонтова были напечатаны въ «Одесскомъ Альманахъ»), тамъ я, разумъется, по обычаю всъхъ не крадущихъ людей, С. А. Венгерова назвалъ.

Свое тяжкое, почти уголовное обвиненіе г. Бродскій, согласно его зам'вчанію, можеть подтвердить и другими данными (кром'в «травли» и «козла»), и даже «многими другими»,—въ такомъ случа'в онъ обязанъ былъ это и сд'влать. Какъ челов'вкъ науки, онъ в'вдь знаетъ, что въ рецензіи, которая притязаетъ быть научной, необходимы точность, необходимы факты, и нельзя, выступая обвинителемъ, прикрываться удоб-

ной не для обвиняемаго скороговоркой: «и мн. др.». Къ тому же, доказать мое преступленіе г. Бродскому, очевидно, было бы и не трудно, коль скоро, по его словамъ, онъ собралъ противъ меня, какъ мы только что видъли, не просто еще «другія» улики, а даже и «многія» другія. Вотъ почему весь этотъ пассажъ я и оставляю на совъсти моего оппонента.

Наконецъ, своему обыкновенію сопоставлять меня съ Бълинскимъ и напоминать, что я «самъ таковъ», Н. Л. Бродскій могь бы измінить, хоть вь этомь случай, еще и потому, что знаменитаго критика я упрекалъ въ чрезмѣрномъ пользованіи не чужими книгами, а чужимъ устнымъ и письменнымъ словомъ; и смыслъ этого укора былъ очень далекъ отъ обвиненія въ плагіать, а заключался въ томъ, что, на мой взглядь, Бълинскій не быль ревнивымь владътелемь своихь страницъ и, въ противоположность всякому истинному писателю, не дорожилъ чувствомъ авторской собственности, давалъ говорить за себя другимъ-хотя бы Боткину и Каткову. Первому онъ пишеть, напримъръ: «Сейчасъ прочелъ въ письмъ твоемъ о Гете и Шиллеръ-умнъе и истиннъе этого ничего не читалъ-просто не могу начитаться. Какъ хочещь, а вклею въ статью, подъ видомъ выписки изъ нѣкоего частнаго письма» (Письма, II, 207). Ему же онъ пишеть: «Катковъ оставилъ мнъ свои тетрадки-я изъ нихъ цъликомъ браль мъста и вставляль въ свою статью. О лирической поэзіи почти все его слово въ слово» (Тамъ же, 11, 215). Этими фразами Бълинскій, въ порядкъ предвосхищенія, вмъсто меня отвъчаетъ П. Н. Сакулину на его замъчаніе: «Бълинскій воспользовался ими (тетрадками Каткова), но воспользовался по своему (Голосъ минувшаго, IV, 107).

И, вопреки тому же П. Н. Сакулину, дѣло здѣсь не въ томъ, какую объективную цѣнность имѣли по своему содержанію эти тетрадки или тѣ страницы о романтизмѣ, которыя для Бѣлинскаго написалъ Боткинъ, а въ томъ, что знаменитый критикъ, чуждый авторскаго самолюбія, вообще не стѣснялся свои слова замѣнять чужими.

Несмотря на то, что одно изъ своихъ опредъленій Бълинскаго, какъ умственной силы: «нищій студентъ» я сдълалъ въ соотвътственномъ контекстъ и взялъ въ кавычки, онъ не спасли меня отъ негодующаго возгласа Н. Л. Бродскаго: «и этотъ упрекъ былъ брошенъ г. Айхенвальдомъ!»—т. е. выходитъ, что я въ бъдности упрекалъ Бълинскаго, въ отсутствіи денегъ.

О бѣдности Бѣлинскаго укоризненно напоминаютъ мнѣ и гг. Ч. В—скій и П. Н. Сакулинъ. По поводу моихъ словъ, что нашъ критикъ «писалъ о чемъ угодно, и, кажется, ему было все равно, о какой книгѣ отозваться, хотя бы даже о бумагѣ»,—замѣчаетъ г. В—скій, что это «многописаніе о вздорныхъ иногда книжонкахъ» сопровождалось для Бѣлинскаго «муками» и вынуждаемо было «самой обнаженной нуждою».

Съ моей безсердечной точки зрѣнія, при оцѣнкѣ литературы Бълинскаго, какъ и всякаго другого писателя, никто не обязанъ считаться съ имущественнымъ положеніемъ автора; но я не хочу на этомъ настаивать (и такъ уже г. Сакулинъ обвиняеть меня въ «настоящемъ издъвательствъ надъ страдающимъ человъкомъ»). Лучше я укажу на то, что, къ чести Бълинскаго и въ защиту отъ его защитниковъ, причиной его многописанія была вовсе не нужда, - причиной была внутренняя потребность. Въ подтверждение этого можно сослаться на слова самого Бълинскаго: «Вотъ навязалъ же чортъ страстишку. Будь я богаче Ротшильда (курсивь мой. Ю. А.)-не перестану писать не только большихъ критикъ, даже рецензій. Какъ миъ ни тяжело, но работаю дюже и безъ рефлексіи-худо ли, хорошо ли-но перо трещить, черниль не успъваю подливать. бумаги исходить гибель. Видно, ужъ такъ Богъ уродилъ...» (Письма, 11, 29). И трогательно звучить его увъреніе, что если бы можно было безпрепятственно печатать свои страницы, то онъ бы «умеръ на дести бумаги и, если бы чернила всъ вышли, отворилъ бы жилу и писалъ бы кровью» (Тамъ же, II, 192). Предлагая свои литературныя услуги Краевскому, онъ такъ

характеризуеть себя: «сотрудникъ, который въ состояніи ежемъсячно поставлять около десяти листовъ оригинальнаго писанья или маранья... я бы желаль взять на себя разборь всъхъ книгь чисто литературныхъ и даже нѣкоторыхъ другихъ... критика своимъ чередомъ, смѣсь тоже» (Тамъ же, I, 311). «Отечественныя Записки» онъ готовъ снабжать «преогромною библіографією и преизобильною полемикою» (І, 320). «Я ужъ устальоднъхъ критическихъ статей наваляль 10 листовъ дьявольской печати, кром'в рецензій» (II, 94). Герцену онъ жалуется на себя, что у него «въ рукъ всегда готовыя общія мъста и низенькая манера писать обо всемъ» (III, 101). Значитъ, «бъдность», какъ онъ самъ говорить, въ немъ только «развила энергію бумагомаранія и заставила втянуться и погрязнуть по уши въ вонючей тинъ расейской словесности» (II, 245); значить, Бълинскій самь, сущностью своей писательской организаціи, пошель навстр'вчу тому, что впоследствін онъ неоднократно оплакивалъ, т. е. своей роли въ «Отечественныхъ Запискахъ»: «Святители! о чемъ не пишу я ему (Краевскому), какихъ книгъ не разбираю! И по части архитектуры (да еще какой: византійской!), и по части медицины... Онъ сдълалъ изъ меня враля, шарлатана...» (III, 95). «У Краевскаго я писалъ даже объ азбукахъ, пъсенникахъ, гадательныхъ книжкахъ, поздравительныхъ стихахъ швейцаровъ клубовъ (право!), о книгахъ о клопахъ, наконецъ, о нъмецкихъ книгахъ, въ которыхъ я не умълъ перевести даже заглавія; писаль объ архитектуръ, о которой я столько же знаю, сколько объ искусствъ плести кружева. Онъ меня сдълалъ не только чернорабочимъ, водовозною лошадью, но и шарлатаномъ, который судить о томъ, въ чемъ не смыслить ни малъйшаго толку» (111, 280).

Моихъ оппонентовъ, особенно гг. Иванова-Разумника и Бродскаго, глубоко возмущаетъ, что я «дерзнулъ» назвать Бълинскаго «Виссаріонъ-Отступникъ», что, по моему, онъ «хронически и безъ явной трагедіи» мънялъ свои убъжденія. Эту мысль мою г. Ивановъ-Разумникъ считаетъ «по истинъ невъроятной», взволнованно говоритъ о ней,—а г. Бродскій даже недоумъваетъ: «Какъ поднялась рука написать эти ужасныя строки! Какъ не дрогнуло сердце!»

Я безъ всякой ироніи заявляю, что волненіе моихъ критиковъ для меня понятно и симпатично. Но что же мнъ лълать. когда я читаю у Бълинскаго такія строки: «Я и теперь почти каждый день разсчитываюсь съ какимъ-нибудь своимъ прежнимъ убъжденіемъ и постукиваю его, а прежде такъ у менячто ни день, то новое убльждение (курсивы мои, Ю. А.). Вотъ ужъ не въ моей натуръ засъсть въ какое-нибудь узенькое опредъленьице и блаженствовать въ немъ» (Письма, 1, 334)? Какъ же мнъ не говорить объ отступничествъ, когда Бълинскій пишеть Герцену: «И какъ хорошо, что мои статьи печатались безъ имени, и я въ новомъ журналѣ всегда могу отпереться отъ того, что говориль встарь, если бъ меня стали уличать!» (III, 110)? Қақь же быть, если Бълинскій изо всъхъ своихъ правъ «съ особеннымъ остервенъніемь» настаиваеть на своемь «правъ ошибаться» (III, 332), если «соврать» ему «ни по чемъ» и одно можеть его «привести въ дисгармонію, -это, если» онъ «холодно совралъ» (1, 221)? Гдъ же «явная трагедія», когда, напримъръ, начиная съ «Литературныхъ мечтаній», Бълинскій твердитъ, что Пушкинъ 1830-мъ годомъ кончился, «обмеръ или умеръ», а впослъдствіи, какъ ни въ чемъ не бывало, спокойно пишеть: «какъ см'тшны и жалки были безпокойства добрыхъ людей о паденіи Sustent

Я не могъ не признать удручающей временности и неорганичности убъжденій Бълинскаго, когда онъ самъ свое пріобщеніе къ фихтеанству именуетъ «прогулкой»: «я прогулялся по немъ (по фихтеанству) больше для компаніи, чтобы тебъ (Бакунину) не скучно было одному», въ то время какъ для Бакунина оно было «послъдовательнымъ переходомъ изъ одного момента въ другой» (Письма, 1, 277).

Я въ своей статът назвалъ рецензію Бтлинскаго на книгу Дроздова «прекрасной»,—но самъ Бтлинскій такъ объясняетъ

мнѣ, почему она прекрасна: «Ты (Бакунинъ) сообщилъ мнѣ фихтеанскій взглядъ на жизнь—я уцѣпился за него съ энергіею, съ фанатизмомъ; но то ли это было для меня, что для тебя? Для тебя это былъ переходъ отъ Канта, переходъ естественный, логическій; а я—мнѣ захотѣлось написать статейку—рецензію на Дроздова и для этого запастись идеями. Я хотѣлъ, чтобы статья была хороша,—и вотъ вся тутъ исторія» (1, 219).

Я въ своей стать в сказалъ, что Бълинскій «каждой мысли, каждой дамы—рыцарь только на часъ», но полчаса я прибавилъ отъ себя, потому что самъ Бълинскій говорить: «иная мысль живеть во мнѣ полчаса» (1, 220). И если онъ, правда, здѣсь же прибавляеть: «но какъ живеть?-такъ, что если сама не оставить меня, то ее надо оторвать съ кровью, съ нервами», то я, помня, что въ психологіи методъ самонаблюденія требуеть корректива въ методъ наблюденія, и сопоставляя это самочувствіе Бълинскаго съ его же признаніями, что убъжденія онъ постукивалъ, мънялъ каждый день, по нимъ прогуливался, что въ печати ему ничего не стоило «соврать», - лишь бы «соврать» не холодно, что онъ дорожилъ правомъ ошибаться, -я питаю увъренность, что и въ данномъ пунктъ онъ это право свое осуществиль и охарактеризоваль самого себя далеко не точно, хотя бы и добросовъстно. Я тъмъ болъе смъю это утверждать, что въ своемъ очеркъ я же взялъ Бълинскаго подъ защиту противъ него самого и не согласился съ нимъ, будто онъ «бралъ мысли готовыя, какъ подарокъ»: я указалъ, что «съ идеями онъ сейчасъ же роднился, и психологическая самостоятельность у него была». Но все дъло въ томъ, что это родство было не близкое, скоръесвойство, что эта самостоятельность была не глубокой. Онъ съ идеями роднился, —да; онъ ихъ усыновляль, но въ тотъ же часъ или черезъ полчаса снова отчуждалъ ихъ, - привязчивый отчимъ всѣхъ идей, не отецъ ни одной! Мыслитель вспыльчивый, Бѣлинскій быстро загорался и быстро погасаль. И ничемь объективнымъ не подтвердилъ онъ своего признанія, что чужія мысли онъ усвоивалъ себъ «жизнію своею, цъною слезъ, воплемъ души»; что къ нему «приставали снаружи и тотчасъ

отваливались» только истины, привитыя чисто логически, н что потомъ, наведенный на нихъ жизнью, онъ уже принималъ ихъ съ убъжденіемъ. Не слышится у Бълинскаго той органической и той трагической глубинности, которая обращаеть Савла въ Павла, дядю Власа изъ преступника въ праведника; неуловимый, текучій, шаткій, политеисть убъжденій, онь, какъ писатель, не обпаруживаеть въ себъ жизнепнаго нерва, какой-то послѣдней серьезности, подлиннаго я. «Моя пріимчивая натура не упустила случая кое-чъмъ «одолжиться»—эти слова Бълинскаго (въ письмъ къ Боткину) върно характеризуютъ его умственную сущность. Необычайная пріимчивость и переимчивость при содъйствіи не глубокаго, но цъпкаго ума дълали то, что въ этотъ умъ идеи скоро впадали, но изъ него же выпадали, превращая Бълинскаго въ какой-то калейдоскопъ, гдъ можно найти самыя различныя, порою яркія комбинаціи элементовъ и гдъ все-таки нътъ единой системы. Психологическая самостоятельность его заключалась въ горячемъ темпераментъ и въ томъ, что собственный голосъ его имълъ, разумъется, свой особый психологическій тембръ. Но говориль Бѣлинскій съ чужого голоса. Онъ былъ одаренъ, но такъ, что умълъ лишь продолжать идеи, которыми одолжался у другихъ, идти дальте (или идти назадъ), вызывать иллюзію интеллектуальной собственности. На самомъ же лълъ онъ всегда возвращалъ только то, что самъ воспринялъ раньше отъ кого-нибудь изъ своихъ собесъдниковъ. И такъ какъ послъдиихъ было много и разнообразно, то и выходило, что подъ вліяніемъ кого-либо одного изъ членовъ кружка Бѣлинскій спорилъ и ссорился съ другими или, получивъ, напримъръ, Гегеля изъ рукъ Бакунина, онъ потомъ сдълалъ изъ этого своеобразное собственное гегеліанство и разошелся съ тъмъ самымъ Бакунинымъ, на котораго Грановскій возлагалъ отв'ътственность за статьи Бълинскаго о бородинскомъ сраженіи. Когда г. Ивановъ-Разумникъ утверждаетъ, что «переходъ Бълинскаго къ «соціальности» и соціализму былъ сдівлань вопреки и противъ мнѣнія друзей его кружка», то, кажется, упускаеть изъ виду мой

оппоненть, что съ ученіемъ соціализма знакомили Бълинскаго Анненковъ и Панаевъ, переводившій для него статьи Леру; недаромъ знаменитый критикъ говорить о Панаевъ: «а еще восхищается Леру и бредить «égalité, fraternité, liberté» (Письма, II, 300). Вообще, можно ли по совъсти отвергать свидътельство Боткина, что «всякій клалъ свою посильную лепту въ общую сокровищницу, которою была критика Бѣлинскаго?» Если г. Ивановъ-Разумникъ, отстаивающій интеллектуальную самобытность Бълинскаго, побъдоносно спращиваетъ меня, чьи «внушенія» повторяль онь въ «Отечественных» Запискахъ» въ продолжение своего восьмилътняго тамъ сотрудничества, то я скажу на это, что, признавая Бълинскаго въ главныхъ вопросахъ крайне внушаемымъ, «рупоромъ кружка», я не думаю, однако, и никогда не говорилъ, будто ему подсказывали каждое слово, каждую рецензію, каждый отзывь. А тъ цитаты, которыя въ этой брошюръ я привелъ и еще приведу, слишкомъ ясно показывають. что «пріимчивая» натура нашего критика «не упускала случая кое-чъмъ одолжиться» отъ своего петербургскаго окруженія и въ періодъ «Отечественныхъ Записокъ». Не только испытывалъ на себъ Бълинскій «дьявольскую способность передавать» Михаила Бакунина (уже въ 1839 г.; см. Письма, П, 6), но даже и скромный Николай Бакунинъ, послъ того какъ Бълинскій. бывало, «толкнеть» его на мысль при совмъстномъ чтеніи Пушкина. «уже бѣжалъ впередъ, угадывалъ ее во всякомъ стихѣ, развивалъ его такъ полно и непосредственно, такъ вдохновенно и чуждо всякой рефлексіи, что»—сознается Бълинскій—«право, я ему туть сдълаль столько же, сколько и онъ мнъ» (II, 81). И воть почему я больше върю не П. Н. Сакулину, который на 107 стр. своей второй статьи заявляеть, что «какъ-то странно говорить о вліяніи Каткова на Бълинскаго, если только не злоупотреблять этимъ словомъ», а самому Бълинскому, который на этотъ счетъ думалъ иначе: «къ прівзду Каткова я былъ уже приготовленъ, -- и при первой стычкъ съ нимъ отдался ему въ пл'внъ безъ противоръчія. Смъшно было, хотълъ спорить, и вдругъ вижу, что уже нътъ ни силъ, ни жару, а черезъ 1/4 часа.

вмъстъ съ нимъ, началъ ратовать противъ всъхъ, сбитыхъ съ толку мною же» (11, 188). «Онъ (Катковъ) много разбудилъ во мнъ, и изъ этого многаго большая часть воскресла и самодъятельно переработалась во мнъ уже послъ его отъъзда» (11, 200). «Чъмъ больше думаю, тъмъ яснъе вижу, что пребываніе въ Питеръ Каткова дало сильный толчокъ движенію моего сознанія. Личность его проскользнула по мнъ, не оставивъ слъда; но его взгляды на многое—право, мнъ кажестя, что они мнъ больше дали, чъмъ ему самому» (11, 211). Если П. Н. Сакулинъ вообще въритъ Бълинскому, то можетъ быть, и онъ здъсь больше повъритъ ему, чъмъ себъ?

По тому же вопросу о безболъзненной и легкой перемънчивости нашего критика, Н. Л. Бродскій указываетъ мнъ, что, вопреки моему утвержденію, Бълинскій не только въ письмахъ къ друзьямъ, но и въ печати «признавался въ своей измънчивости», и при этомъ отсылаетъ меня къ его сочиненіямъ—т. V, стр. 445 и т. IV, стр. 482.

Такъ какъ рѣчь идетъ о «явной трагедіи», то г. Бродскій долженъ быль бы цитировать меня особенно точно; и тогда обнаружилось бы, что я говорилъ не о томъ, «признавался» ли Бѣлинскій въ своей измѣнчивости или нѣтъ, а о томъ, «сокрушался» ли онъ о ней: это—большая разница. Кромѣ того, ссылка моего рецензента—странная: если онъ имѣлъ въ виду сочиненія Бѣлинскаго подъ редакціей Венгерова, то ни 445 стр. V т., ни 482 стр. IV т. не подтверждаютъ мысли г. Бродскаго.

На 482 стр. IV т. Бълинскій вообще о себъ лично, вопреки моему оппоненту, не произносить ни слова: онъ тамъ противополагаеть людей, постоянно формирующихся, людямъ, совершенно готовымъ, въ родъ Менцеля, «бъднымъ, жалкимъ, ограниченнымъ, мелкимъ», и предпочтеніе отдаеть первымъ, т. е. самому себъ (если, какъ думаетъ г. Бродскій, критикъ разумъль самого себя); такимъ образомъ, 482 страница IV т. во всякомъ случаъ подтверждаеть указаніе не г. Бродскаго, а мое,—т. е. слова моего этюда о томъ, что, въ печати, несмиренному Бълинскому случалось даже насмъщливо выговаривать лицамъ,

которыя однажды навсегда составили себѣ опредѣленныя мнѣнія.

Что касается 445-й страницы V тома, то Бълинскій, дъйствительно, говорить тамъ о себъ,—говорить, что театръ давно уже пересталъ быть для него храмомъ. По этому поводу онъ восклицаетъ: «Боже мой! какъ я перемънился! Но эта метаморфоза— общій удълъ всъхъ людей». И авторъ проситъ «не смотръть на него съ ненавистью, не осуждать его за «желчную злость»: она-де объясняется тъмъ, что «нъкогда его сердце билось однимъ безконечнымъ, а въ душть жили высокіе идеалы, а теперь его сердце полно одного безконечнаго страданія, и идеалы разлетълись при грозномъ свъточь опыта, и онъ своимъ докучливымъ ворчаньемъ мститъ дъйствительности за то, что она такъ жестоко обманула его». Предоставляю г. Бродскому и читателямъ судить, что все это имъетъ общаго съ моимъ тезисомъ: Бълинскій хронически, безъ явной трагедіи мънялъ убльясденія и въ печати объ этомъ не сокрушался.

Основной грѣхъ моей характеристики Бѣлинскаго П. Н. Сакулинъ видитъ въ томъ, что я создалъ для него «нарочитоаляповатую» психологію, и притомъ такую, которая идетъ въ 
разрѣзъ съ моимъ обычнымъ пониманіемъ людей вообще и писателей въ особенности. Именно, по мнѣнію моего оппонента, 
высказанному въ его первой статъѣ и подробно развитому во 
второй, есть противорѣчіе между моимъ убѣжденіемъ, что 
«ничьимъ продуктомъ не служитъ никакая личность», и моимъ 
утвержденіемъ, что Бѣлинскій—постоянный объектъ различныхъ вліяній, «руководимый руководитель, аккумуляторъ чужого».

Неужели, однако, надо разъяснять, что никакого противоръчія между этими двумя тезисами нътъ? Развъ быть продуктомъ и быть объектомъ вліяній, это—одно и то же? Ничья личность не есть ничей продуктъ; но есть такія личности, которыя очень легко поддаются разнымъ вліяніямъ. Чтобы признавать по-

слъднее, вовсе не надо быть, вопреки П. Н. Сакулину, детерминистомъ, и своему индетерминизму я не измѣнялъ. Есть личности активныя, и есть пассивныя. При этомъ я въдь говорилъ, разумъется, только объ умственной личности, о Бълинскомъавторъ, объ интеллектуальныхъ вліяніяхъ, - о всякихъ идеяхъ, мысляхъ, свъдъніяхъ, взглядахъ, оцънкахъ, теоріяхъ, о томъ, что идетъ извиъ; я говорилъ, что «въ чисто интеллектуальномъ смыслъ» у Бълинскаго не было своего мнѣнія и своего знанія, своего a priori. И развѣ въ самомъ дѣлѣ не существують мыслители чужихъ мыслей? Въ психологической же самостоятельности, какъ мы уже видъли, я Бълинскому не только не отказывалъ, но совершенно опредъленно и настойчиво ее за нимъ призналъ (стр. 6). И такъ странны, хотя и неоспоримы, именно потому странны, что неоспоримы, слова П. Н. Сакулина: «Его (Бълинскаго) не смъщаещь ни съ Станкевичемъ, ни съ Бакунинымъ, ни съ Катковымъ, ни съ Боткинымъ» (стр. 106 Голоса минувшаго). Оттого мы и носимъ собственныя имена, что насъ нельзя смъщать другъ съ другомъ. У каждаго есть своя душа, и ничья душа не паръ. Всякій индивидуумъ-индивидуальность. Развъ изъ этого правила я дълалъ для Бълинскаго исключение? Я уже выше сказалъ, что чужія идеи произносилъ Бълинскій голосомъ, конечно, особаго психологическаго тембра,-не того, какой быль у Бакунина или у Станксвича, или у кого-нибудь еще. Мнъ только казалось и кажется, что самимъ собою, живой индивидуальностью, Бълинскій быль гораздо больше-какь человъкь, въ своей частной жизни (которой я не касался), чёмъ въ своихъ произведеніяхъ. Не всякій пишущій выражаетъ себя въ своемъ писательствъ (этимъ я не имъю въ виду художниковъ, поэтовъ). Недаромъ и и которые изъ собесъдниковъ Бълинскаго находили его письма интереснъе его писаній, а его разговоры интереснъе его писемъ. И теперь г. Ляцкій, какъ я упомянулъ раньше, считаетъ Бълинскаго «свътящимся человъкомъ»; онъ же думаеть, что «его письма переживуть его статьи». Дъйственное, творческое начало Бълинскаго, въроятно, уходило не столько въ его дъла, сколько въ его дни, -- въ самую жизнь. И какъ разъ по-

тому, что, въ противность указанію П. Н. Сакулина, я не забылъ, а помнилъ свой тезисъ: «существенно, кто испытываетъ воздъйствія среды, а не то, какія это воздъйствія», —какъ разъ поэтому, номня кто Бълинскаго, я и пришелъ къ своему выводу, что онъ былъ Перъ Гюнтомъ русской критики. Испытываетъ вліянія всякій; но одни противопоставляють имъ себя, глубоко ихъ перерабатывають, изъ чужого дълають свое; другіе же навсегда остаютси измѣнчивы, внѣшни, поверхностны. Такъ какъ духовное кто Бълинскаго-писателя, по моему, состояло, кромъ чисто-словеснаго дарованія, въ легкой возбудимости, живомъ темпераментъ, въ постоянномъ и безпредметномъ кипъніи, не содержало въ себъ субстанціальнаго зерна (субстанція была не въ интересномъ для Россіи Бълинскомъ, а въ Виссаріонъ Григорьевичъ), то чужія идеи мало прокъ, и онъ не сдълался тъмъ истиннымъ мыслителемъ, который представляеть собою органическое единство великаго ума и великаго сердца, цъльную и могучую натуру.

И если П. Н. Сакулинъ насмъшливо утверждаетъ, что я не нашелъ въ Бълинскомъ «дъйственной души, а такъ какую-то студенистую массу, которая то расширяется, то сжимается, принимаетъ разнообразныя формы», то противъ такого опредъленія (впрочемъ, не моего, а именно г. Сакулина) не всегда протестовалъ бы и самъ Бълинскій, который даже сходное выраженіе о себъ употребилъ: «изръдка довольно сильная, но чаще расплывающаяся натура» (Письма, 11, 347).

Тѣ признаки «психологической самостоятельности» Бѣлинскаго, которые я назвалъ нѣсколькими строками выше, были перечислены мною и въ моемъ силуэтѣ; оттого неправиленъ упрекъ г. Ч. В—скаго, будто я «не попытался даже опредѣлить, въ чемъ же она состояла»,—не говоря уже о томъ, что вѣдь весь мой очеркъ, вся моя характеристика Бѣлинскаго и является посильнымъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ.

Такъ какъ мой этюдъ явился для второй статьи П. Н. Сакулина «Психологія Бѣлинскаго», какъ онъ самъ говоритъ, только «поводомъ» и эта статья въ основной своей части по существу вполнъ самостоятельна и сохраняетъ всъ свои права, даже и не какъ возражение миъ, то я и не обязанъ слъдить за тьмъ, насколько върно изображаетъ почтенный авторъ психическую жизнь Бълинскаго, насколько точно рисуеть онъ ея «типъ». Самъ П. Н. Сакулинъ утверждаетъ, что другіе оппоненты уже сдѣлали мнѣ «немало цѣнныхъ фактическихъ возраженій»; онъ же, съ своей стороны, хотълъ бы сосредоточиться, «главнымъ образомъ, на личности Бълинскаго, на его психологіи», такъ какъ это-де «имъетъ первенствующее значение въ возникшей полемикъ». Эта психологія для г. Сакулина-«большая посылка», обусловливающая все построеніе моего силуэта, все главное въ моей характеристикъ Бълинскаго. Въ свою очередь, въ томъ умозаключеній, которое строить П. Н. Сакулинь для характеристики моего силуэта, т. е. моего пониманія психологіи Бѣлинскаго, большою посылкой является, какъ я уже показалъ,... большое недоразумъніе. Оно состоить въ невърной мысли моего оппонента, будто я отказываю Бълинскому въ психологической самостоятельности, въ самодовлъющей душевной личности. Вотъ почему, выяснивъ, что здѣсь — именно недоразумъніе, что у меня въ силуэтъ всъми буквами о существованіи въ Бълинскомъ психологической самостоятельности напечатано, я имъю право отвъчать только на ть фактическія опроверженія, которыя, по словамъ П. Н. Сакулина, предъявили мнъ другіе рецензенты, и только на тъ, фактическія тоже, указанія, которыя въ своей работъ сдълалъ мнъ самъ г. Сакулинъ. Этимъ, повторяю, ограничиваются мои обязанности по отношенію къ его статьъ, какъ возраженію на мою статью.

Но, не обязанный провърять, законно и правильно ли П. Н. Сакулинъ въ своемъ обще-психологическомъ и характерологическомъ экскурсъ причисляетъ Бълинскаго «къ категоріи 
эмоціональныхъ характеровъ (по «классфиикаціи Бена») или 
«къ категоріи активно-эмоціональныхъ» (по «терминологіи Кейра»); 
освобожденный отъ необходимости говорить по существу этой 
коренной части его очерка и въ данномъ пунктъ съ авторомъ 
спорить (къ тому же, съ точки зрънія П. Н. Сакулина, это

было бы и безнадежно, такъ какъ въ объихъ своихъ статьяхъ онъ прямо заявляеть, что я, по самому складу своей личности, просто органически неспособенъ постигнуть Бълинскаго и его «сложная натура недоступна пониманію» моему),—я все-таки позволю себъ, въ порядкъ необязательности, отмътить, что въ своей работъ П. Н. Сакулинъвпалъ въ роковую методологическую ошибку.

Я опять долженъ напомнить основное правило научной психологіи: методу самонаблюденія нуженъ коррективъ въ методъ наблюденія. Г. Сакулинь почти совсъмъ упустиль это изъ виду. Опредъляя психику Бълинскаго по его письмамъ, онъ опирается на то, что о ней же говорить самъ Бълинскій. Душу знаменитаго критика онъ выясняеть по тъмъ субъективнымъ показаніямъ, которыя даетъ о своей душъ знаменитый критикъ. Нъсколько десятковъ цитатъ, приводимыхъ г. Сакулинымъ, имъють своимъ подлежащимъ я. Лишь три-четыре цитаты принадлежать А. Григорьеву, М. М. Попову, Герцену, В. Ө. Одоевскому. При этомъ, что особенно важно, весь матеріалъ писемъ Бълинскаго не использованъ въ той интересной, существенной и большой части его, гдъ критикъ самонаблюденіемъ спеціально не запимается, гдъ о своей психикъ онъ прямо и преднамъренно не повъствуетъ, но гдъ она, несмотря на это или именно поэтому, выступаетъ особенно ярко и непосредственно. Тамъ, гдъ П. Н. Сакулинъ долженъ былъ бы посмотръть со стороны, онъ смотрить глазами Бълинскаго. Тамъ, гдъ нужно бы зоркое наблюденіе, П. Н. Сакулинъ довърчиво слъдуеть самоощущенію наблюдаемаго. Қакимъ свой характеръ характеризуетъ Бълинскій, такимъ его и принимаеть П. Н. Сакулинъ. Онъ слишкомъ говоритъ его словами. Ясно, какая получается отсюда нежелательная (или для почитателей Бълипскаго-желательная) односторонность.

Кто станетъ оспаривать цѣнность для психолога интроспекціи Бѣлинскаго, его собственныхъ откровеній и откровенности? Но кто же не согласится, что для психологическаго портрета (или даже силуэта) этихъ данныхъ мало? Вѣдь, если бы мы хотъли, напримъръ, уяснить себъ этическій обликъ Бъликскаго, мы, конечно, приняли бы во вниманіе, что самъ онъ неоднократно именуєть себя благороднымъ (хотя бы въ письмъ къ Станкевичу 1839 г.: «ты самъ знаешь, что я человъкъ необыкновенно благородный и до всего унижусь—только не до подлости»; или, въ разныхъ другихъ письмахъ: «я дъйствовалъ съ благородной цълью»; «я страдалъ, потому что былъ благороденъ», и т. д.); но этой самохарактеристикой ни въ какомъ случа в нельзя было бы удовлетвориться.

И если по поводу недавно опубликованныхъ писемъ знамепитаго критика П. Н. Сакулинъ выражаетъ надежду: «Самъ Өома невърующій можетъ вложить теперь свои персты въ язвы Бълинскаго и долженъ увъроватъ въ него», то я, наоборотъ, не только укръпился нынъ въ своей нерадостной позиціи Өомы, но даже и П. Н. Сакулину, какъ автору статьи «Психологія Бълинскаго», ръшился бы пожелать больше научнаго скептицизма. Въ наукъ тъмъ върнъе, чъмъ скупъе наша довърчивость.

Еще кое въ чемъ долженъ я отвътить П. Н. Сакулину. Что «въ Пушкинъ прославленный критикъ увидълъ только «русскаго номъщика», - этого я, вопреки неточной цитатъ г. Сакулина, не говорилъ; а что «русскаго помъщика» онъ увидълъ въ немъ, это я, дъйствительно, сказалъ. И что же? развъ это не върно, развъ не настаиваетъ Бълинскій на «павосъ помъщичьяго принципа» у Пушкина, на его «генеалогическихъ предразсудкахъ»? Не за это ли, между прочимъ, Г. В. Плехановъ призналъ у Бълинскаго чутье «геніальнаго соціолога»? По мысли П. Н. Сакулина, это въ статьяхъ знаменитаго критика о Пушкин в несущественно, и «до Г. В. Плеханова никто, въ сущности, и не обращалъ вниманія на тъ фразы Бълинскаго, гдъ говорится о Пушкинъ, какъ «русскомъ помъщикъ»... Нътъ, отчего же? Если писателя читать внимательно, то прочтешь у него все, что онъ написалъ. И во второй своей стать в самъ П. Н. Сакулинъ призналъ, что и до г. Плеханова этого «русскаго помъщика» замътили.

Когда я говорилъ, что Бълинскій какъ-то не уставалъ отъ

беллетристики и ею заслонялъ передъ собою жизнь, что онъ не оградилъ себя отъ нравственной пыли своего ремесла, я имѣлъ въ виду не частныя заявленія въ письмахъ, на которыя указывастъ П. Н. Сакулинъ, не эти обычные вопли журналиста, усталаго работника,—я имѣлъ въ виду стать въ бълинскаго, и вотъ въ нихъ, внутри, въ его книгахъ, миѣ чуялась только книжность, неутомленность души отъ литературы, присутствіе журнальныхъ дрязгъ и отсутствіе какой-то живой, надлитературной заинтересованности. Въ письмахъ же Бълинскаго, дъйствительно, часты жалобы на «ненавистную литературщину», на «грязь и соръ россійской словесности», на «занятіе пошлостью и мерзостью, извъстною подъ именемъ русской литературы».

Въ заключеніи своей второй статьи П. Н. Сакулинъ говорить: «Мы не повторимъ мнѣнія Ю. И. Айхенвальда, что ходъ русской культуры зависѣлъ отъ одного Бѣлинскаго». Да, г. Сакулинъ не повторитъ за мною этого миѣнія, потому что я его не высказывалъ. Я сказалъ другое: «въ высокой мвъргъ какъ разъ Бѣлинскій повиненъ въ томъ, что русская культурная традиція не имѣетъ прочности». Я, значитъ, утверждаю, что Бѣлинскій имѣлъ значительное вліяніе на русскую культурную традицію; въ такой общей формѣ со мною вполнѣ согласенъ и П. Н. Сакулинъ.

По поводу моего упрека, что Бълинскій, «критикъ, другихъ критиковъ называлъ критиканами», г. Бродскій направляєть ко мнъ лирическое обращеніе: «подумайте, современный критикъ, какъ иначе можно назвать тъхъ», кто въ своихъ рецензіяхъ говорилъ разныя глупости,—«а, въдь, Бълинскій именно этихъ «критиковъ» имълъ въ виду (т. V, стр. 483—4)».

На это я, современный критикъ, подумавъ, отвъчаю: вопервыхъ, не только на цитируемую Н. Л. Бродскимъ страницу опирался я; во-вторыхъ, какую бы нелъпость ни печатали критики, другому критику не слъдуетъ называть ихъ критиканами: это не по-товарищески; въ-третьихъ, ужъ если г. Бродскій цитируетъ V т., 483—484 стр., то почему же онъ не прибавилъ, что тамъ Бълинскій признакомъ «критикана», т. е. необычайной глупостью, считаетъ и такое мнѣніе, въ силу котораго «печатно называютъ плохимъ» романъ Купера «Патфайндеръ», —это, на оцѣнку Бълинскаго, «геніальное произведеніе, какимъ только ознаменовалась, послѣ Шекспира, творческая дъятельность»? И возникаетъ опасный для Бълинскаго вопросъ, кто же въ данномъ случаь—критикъ и кто—«критиканъ».

Мы вообще далеко расходимся съ Н. Л. Бродскимъ во взглядахъ на Бѣлинскаго. Оттого мой оппонентъ «только съ удивленіемъ пожимаетъ плечами» даже на такое мое невинное и неоспоримое мнѣніе, что знаменитый критикъ «слишкомъ цитируетъ», «слишкомъ пересказываетъ содержаніе книги». Я вспоминаю добродушныя слова Полевого, переданныя Бѣлинскому Кольцовымъ: «я не знаю, что онъ за чудакъ такой (Бѣлинскій), пишетъ, да и только—посмотрите, Бога ради—цѣлые монологи, цѣлыя сцены изъ Гамлета, для чего это—не знаю, вѣдъ, Гамлета всѣ знаютъ. Довольно бы, кажется, было два-три стиха для примѣра, а ниже сказать, «и прочее», вотъ докуда». И какъ Бѣлинскій цитировалъ все.

Само собою разумъется, върный своему методу, г. Бродскій не забываеть прибавить, что я самъ таковъ, что это я чрезмърно цитирую. Здъсь я позволю себъ сказать два слова рго domo mea, потому что въ нихъ будетъ содержаться и указаніе на Бълинскаго. Въ «Montagsblatt der St.-Petersburger Zeitung» отъ 19 февраля 1907 г. я въ статъъ г. Arthur Luther'а о моихъ «Силуэтахъ» имълъ удовольствіе прочесть, между прочимъ, такія строки (переведу ихъ съ нъмецкаго): «Техника цитированія у большинства русскихъ критиковъ такова, что, право, ее не слишкомъ трудно усвоить себъ... Даже Бълинскій, у котораго по истинъ было что сказать своего, все-таки не обходился почти никогда безъ цитатъ въ цълыя страницы. Метода Айхенвальда—совсъмъ другая».

Н. Л. Бродскому «не хочется говорить о странности мнѣнія, будто Бѣлинскій «травилъ» все время Полевого: подлинныя статьи его краснорѣчиво утверждаютъ противное».

Что «все время», я не говорилъ (зачъмъ же искажать мое утвержденіе?), а что «травилъ»—да (именно совпаденіе этихъ словъ у С. А. Венгерова и у меня, какъ мы видъли, показалось Н. Л. Бродскому подозрительнымъ). Г. Ч. В—скій тоже въ этой моей квалификаціи отношенія Бѣлинскаго къ Полевому видитъ одно изъ проявленій моей «непомърной придирчивости» и утверждаеть, что «въдь «травили» Полевого, если здъсь умъстно это слово, за то, что онъ во второй половинъ дъятельности примкнулъ къ позорному въ исторіи русскаго общества союзу вулгарина и Греча; Бѣлинскому же принадлежить не только извъстная общая, глубоко сочувственная посмертная оцънка Полевого въ отдъльной статьъ о немъ, по подобная же въ нъкоторыхъ отношеніяхъ оцѣнка дана также и при жизни Полевого въ отзывъ объ Очеркахъ русской литературы»...

Посмертная оцънка Полевого! Какою, невъдомо для г. Ч. В-скаго, звучить это горькой ироніей! Въдь травить можно только живого. До сихъ поръ нельзя безъ острой жалости, безъ волненія читать потрясающія письма Полевого къ брату Ксенофонту; они показывають, какъ бился несчастный писатель и его семья въ тискахъ нужды и недуговъ, и правительственныхъ гоненій; и Б'єлинскій все это зналь, и Б'єлинскій усердно и злорадно подливалъ свой ядъ въ нестерпимо горькую чашу того, съ къмъ раздъляль недавно физическую и нравственную хлъбъ-соль. Злыя и несправедливыя статьи печаталь онъ противъ него, обрекая себя «на раздавленіе ядовитой гадины» и радуясь, что «стрълы доходять до него, и онъ бъсится» (Письма, 11, 42). Қакой отравой напитывало свои литературныя стрълы «великое сердце» Бълинскаго, можно видъть особенно потому, что его письма вводять насъ въ эту ужасную лабораторію и мы читаемъ въ нихъ о Полевомъ по истинъ каннибальскія строки, Воть, напримъръ: «Нъть, никогда не раскаюсь я въ моихъ нападкахъ на Полевого, никогда не признаю ихъ ни несправедливыми, ни даже преувеличенными. Если бы я могь раздавить моею ногой Полевого, какъ гадину-я не сдълалъ бы этого только потому, что не захотълъ бы запачкать подошвы моего сапога. Это мерзавецъ, подлецъ первой степени: онъ другъ Булгарина, protégé Греча... пріятель Кукольника; безсов'єстный плуть, завистникъ, низкопоклонникъ, дюжинный писака, покровитель посредственности, врагъ всего живого, талантливаго... Онъ проповедуеть ту расейскую действительность, которую такъ энергически и вкогда преслъдовалъ, которой нанесъ первые сильные удары... Для меня уже смѣшно, жалко и позорно видѣть его фарисейско-патріотическія, предательскія драмы народныя... его дружба съ подлецами, доносчиками, фискалами, площадными писаками, отъ которыхъ гибнетъ наша литература, страждуть истинные таланты, и лишено силы все благородное и честноеивть, брать, если я встрвчусь съ Полевымъ на томъ свътьи тамъ отворочусь отъ него, если только не наплюю ему въ рожу... Не говори мнѣ больше о немъ-не кипяти и безъ того кипящей крови моей. Говорять, онъ недавно былъ боленъ водяною въ головъ (отъ подлыхъ драмъ)-пусть заведутся черви въ его мозгу, и издохнеть онъ въ мукахъ-я радъ буду. Богъ свидътель-у меня нътъ личныхъ враговъ, ибо я (скажу безъ хвастовства) по натуръ моей выше личныхъ оскорбленій, но враги общественнаго добра-о, пусть вывалятся изъ нихъ кишки, и пусть повъсятся они на собственныхъ кишкахъ-я готовъ оказать имъ последнюю услугу—расправить петли и надеть на шеи... И ты (Боткинъ) заступаешься за этого человъка, ты (о, верхъ наивности!), думаешь, что я скоро раскаюсь въ своихъ нападкахъ на него. Нътъ, я одного страстно желаю въ отношеніи къ нему: чтобъ онъ валялся у меня въ ногахъ, а я каблукомъ сапога размозжилъ бы его изсохшую, фарисейскую, желтую физіономію. Будь у меня 10.000 рублей денегь-я имълъ бы полную возможность выполнить эту процессію» (Письма, II, 196-199).

Да, онъ умълъ ненавидъть, Виссаріонъ Бълинскій!.. За что же, однако, эта возмутительная ненависть, дикое сладострастіе

этой «процессіи»? Какъ мы вид'ьли, самъ гуманный критикъ (да и зашитники его, гг. Ч. В-скій и П. Н. Сакулинъ) объясняють ее характеромь литературной дъятельности Полевого въ ея второй періодъ. Но если вспомнить, что приведенныя строки Бълинскаго написаны очень скоро послъ статей о Бородинскомъ сраженіи и о Менцелъ, что самъ Бълинскій никогда не быль бъденъ патріотизмомъ и націонализмомъ, что патріотическія пьесы Николая Полевого были вполнъ искренни, то упомянутое объяснение покажется весьма неубъдительнымъ, Ничего столь дурного не дълалъ и не писалъ несчастный Полевой, чтобы, даже принимая во внимание темпераментъ и характеръ Бълинскаго, можно было то кровожадное чувство, какое онъ испытываль къ своему бывшему покровителю, хоть приблизительно истолковать общественностью. Панегиристы знаменитаго критика отвергають ту верс ю, которую для освъщенія этого чувства предложиль брать Полевого, Ксенофонть, Изъ его «Записокъ» и изъ писемъ Кольцова, который, по настоятельному требованію Бълинскаго, передаваль ему все, что говориль о немъ, Бълинскомъ, Полевой, мы знаемъ, что послъдній не принялъ въ свой журналъ «Сынъ Отечества» огромной статьи Бълинскаго (о «Гамлетъ»), не нашелъ ему литературныхъ занятій въ Петербургь, не выписаль его туда изъ Москвы, такъ какъ-сообщаль Николай Полевой брату-во-первыхъ, «надобно дать время всему укласться, и затягивать человъка сюда, когда онъ при томъ такой неукладчивый (и довольно дорого себя цънитъ), было бы неосторожно всячески, и даже по политическимъ отношеніямъ»; и, во-вторыхъ, «начисто ему поручить работу нельзя, при его плохомъ знаніи языка и языковъ и недостаткъ знаній и образованности». Къ этому прибавлялъ Николай Полевой: «Все это нельзя ли искусно объяснить, увъривъ при томъ (что, клянусь Богомъ, правда), что какъ человъка я люблю его и радъ дълать для него что только мнъ возможно. Но, при объясненіяхъ, щади чувствительность и самолюбіе Бълинскаго. Онъ достоинъ любви и уваженія, и бъда его одна-нелъпость». Такъ эту версію, т. е. предположеніе,

что Бълинскій быль озлоблень на Полевого и восемь лъть мстилъ ему-за отказъ въ напечатаніи статьи (и за переданное Кольцовымъ и Ксенофонтомъ Полевымъ общіе отзывы объ автор'в ся), -- это ръшительно отклоняеть, напримъръ, С. А. Венгеровъ, иронически восклицая: «объясненіе необыкновенно правдоподобное». Я же лично вынужденъ здъсь выступить какъ advocatus diaboli и заявить, что психологически неправдоподобнымъ я считаю, наоборотъ, объяснение исключительной ненависти Бълинскаго изъ причинъ идейныхъ. Если, «какъ воронъ на падаль», накидывался Бълинскій на каждую строку Полевого и заранъе видълъ въ немъ добычу своихъ литературныхъ набъговъ, свою обреченную монополію («Полевой—да не прикоснется къ нему никто, кромъ меня! Это моя собственность, собственность по праву»); если, впадая въ беззастънчивое противоръчіе съ самимъ собою, онъ, напримъръ, издъвался надъ тъмъ самымъ переводомъ «Гамлета», принадлежащимъ Полевому, который раньше, до личной размолвки съ переводчикомъ, вызывалъ у него безудержное восхищение, то слишкомъ обидно для русской общественности объяснять это ея интересами, вдохновляющей заботой о нихъ. А для памяти Полевого обидно то, что г. Ч. В-скій непостижимымъ образомъ находитъ «подобную же въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ оцівнку» его дівятельности, т. е. подобную «глубоко сочувственной», - въ статъ в Бълинскаго объ «Очеркахъ русской литературы», той самой статьъ, которая полна несправедливости и пристрастія и о которой, какъ бы потирая руки, саркастически увъдомляль Краевскаго безжалостный авторъ: «Нынъшній день оканчиваю довольно общирное «похвальное слово» другу моему, Николаю Алексфевичу Полевому», Если, говоря о своемъ «другѣ» въ прошедшемъ времени, какъ о человъкъ поконченномъ. Бълинскій иногда роняеть вынужденныя и блъдныя слова признанія о его прежнихъ заслугахъ, то они совершенно исчезають въ общемъ потокъ мстительной злобы. А когда затравленный Полевой умеръ, тогда... тогда Бълинскій, дъйствительно, написалъ сочувственную статью о своей, между прочимъ, жертвъ и въ одномъ мъстъ выразился про него, что это былъ человъкъ "постоянно раздражаемый самыми возмутительными въ отношеніи къ нему несправедливостями»...

Даже такой поклонникъ «лучезарнаго блеска безпримърносвътлой личности» Бълинскаго, какъ С. А. Венгеровъ (Сочин. Бълинскаго, 111, 523),—и тотъ долженъ былъ напослъдокъ, не въ 111, а въ V томъ (стр. 552), констатировать въ своемъ любимцъ по отношенію къ Полевому «безконечную несправедливость и жестокость»,—и къ тому же проявленныя тогда, когда, разоренный послъ закрытія правительствомъ «Московскаго Телеграфа», Полевой изнывалъ въ борьбъ съ градомъ несчастій.

Такъ не зря ли обидълъ меня г. Ч. В—скій, считая мою характеристику отношеній Бълинскаго къ Полевому «непомърной придирчивостью»? Такъ не лучше ли, не благоразумнъе ли поступилъ г. Бродскій, которому—правда, по особымъ соображеніямъ—вовсе «не хотълось говорить» объ этой моей «странной» характеристикъ?

Въ одномъ пункт в я долженъ сдълать уступку Н. Л. Бродскому (отчасти и П. Н. Сакулину, тоже, на 116 стр. своей второй статьи, слегка касающемуся даннаго вопроса): я не имъль достаточно основаній сказать, что Бълинскій «своими ошибками всецтьло обязанъ самому себъ»; подчеркнутое слово нужно было бы замфнить другимъ, менфе рфшительнымъ, такъ какъ, при общей внушаемости Бълинскаго, дъйствительно, слъдуетъ признать, что не только правильное и хорошее могь онъ брать у другихъ, но и дурное. Однако, и здѣсь я вынужденъ отмѣтить, что г. Бродскій защищаеть Бълинскаго оть меня не такъ, какъ, съ его точки эрънія, было бы надо, и противоръчить самому себъ. «Кстати», спрашиваетъ мой оппонентъ, «какъ примирить его (мое) утвержденіе, что «Бѣлинскій свое хорошее и правильное получаль отъ другихъ-своими ошибками всецъло обязанъ самому себъ», съ фактомъ, что Станкевичъ считалъ пушкинскія сказки «ложнымъ родомъ», «просто дрянью», «Конька-Горбунка» находилъ «несноснымъ»?» (стр. 15). Г. Бродскій простодушно не зам'вчаетъ, что такой постановкой вопроса онъ, уже во второй разъ, выдаеть Бълинскаго головой: значить, не возможно, чтобы Бълинскій думаль не такъ, какъ Станкевичъ, или додумался до своихъ взглядовъ на пушкинскія сказки и «Конька-Горбунка» самостоятельно? Значить, я правъ, что Бълинскій вообще быль отголоскомъ чужихъ мнъній (противъ чего, однако, возражаетъ г. Бродскій)? Въдь если стать на скользкую для Бълинскаго точку зрѣнія его защитника, то послѣдній долженъ бы и мнѣ дать право строить, напримъръ, такія умозаключенія: оттого Бълинскій высоко цівниль Лермонтова, что Краевскій, съ которымь нашь критикъ въ то время быль очень близокъ, считалъ Лермонтова «мѣркой всего великаго» («Письма», 11, 252); оттого Бѣлинскій призналь Гоголя, что, по свидътельству С. А. Венгерова (Собраніе его сочиненій, 1913, II, стр. 175), Гоголь «былъ истиннымъ любимцемъ всего кружка» Станкевича и «въ общемъ, увлеченіе Бълинскаго Гоголемъ не составляетъ его личной заслуги» (стр. 177); оттого Бълинскій привътилъ Кольцова, что на Кольцова обратилъ вниманіе, его открылъ Станкевичъ. Но такого права г. Бродскій не дасть же миъ?

На мое утвержденіе, что Бълинскій быль «несвъдущь», Н. Л. Бродскій отвъчаеть «голько ссылкой на сочиненія подлиннаго Бълинскаго да словами ученаго современника Бълинскаго (Грановскаго): «противнъе всего было слушать сужденія о невъжествъ Бълинскаго!» (стр. 35).

У Грановскаго этого нѣть; у подлиннаго Грановскаго сказано такъ: «Противнѣе всего было слушать сужденія С—ва (Строева) и Бодянскаго о невѣжествѣ Бѣлинскаго» (Т. Н. Грановскій и сго переписка, М. 1897, 11, 341).

Г. Ивановъ-Разумникъ не всегда логиченъ. Онъ утверждаеть, что похоронить придется не Бълинскаго, а мою статью, на которой надо поставить «безпощадный крестъ»; и это—не потому, чтобы я «дерзнулъ» возстать на Бълинскаго; «дъло не въ дерзости, а въ искренности». Черезъ нъсколько строкъ авторъ признаетъ мою искренность: значитъ, хоронить меня, какъ писателя, не за что? Но нъть, - разрушая логичность своего построенія, кром'в искренности, уже новое требованіе предъявляеть г. Ивановъ-Разумникъ: «наличность основательнаго фактическаго багажа».

По существу онъ правъ въ своихъ обоихъ требованіяхъ; но ни въ одной фактической ошибкъ онъ меня не уличилъ. скудости моего багажа ни въ чемъ не показалъ. И мнъ думается, что весь мой споръ съ противниками, въ частности, съ г. Ивановымъ, касается не фактовъ, а ихъ истолкованія. Такъ думаеть, во второй своей статью, и П. Н. Сакулинь: «все дъловъ новомъ истолкованіи ранъе извъстныхъ фактовъ, въ своемъ углъ зрънія» (стр. 89).

Но, какъ бы то ни было, благожелательный совътъ г. Иванова-Разумника «пополнить свой багажъ» я свято исполняю и буду исполнять: въкь живи-въкь учись.

Зато я не послъдую другому его совъту-сдълать такой наивно-статистическій опыть: «взять знаменитыя «пушкинскія статьи» Бълинскаго и подсчитать въ нихъ, съ одной стороны, всь ошибочныя сужденія о Пушкинь, ...а съ другой стороны,всѣ сужденія, сохранившія силу и до нашихъ дней», -- какихъ окажется больше? Для меня гораздо важнъе этой ариометики общій духъ, общій смысль статей Бізлинскаго, синтетическая оцѣнка Пушкина; какова же она, я на это указалъ выше.

Нелогиченъ г. Ивановъ-Разумникъ и въ томъ отношеніи, что, «хороня» мою статью о Бълинскомъ, онъ на ея основаніи хоронить и мой методъ вообще. Но развѣ въ томъ, что статья моя, по мнънію г. Иванова-Разумника, такъ дурна, виновать непремънно мой методъ, а не я самъ? Въдь методъ-то, можеть быть, и хорошь, а только примънила его неискусная и невъжественная рука. Дѣло, можетъ быть, не въ методологіи, а въ самомъ методологѣ. Г. Ивановъ самъ же недавно утверждалъ, что «похоронить» силуэтъ надо за мое незнаніе фактовъ; а вѣдь знать факты—этого, конечно, въ первую очередь требуетъ всякій методъ, въ томъ числѣ и мой. И если мой оппонентъ справедливо замѣчаетъ, что «всякая теорія имѣетъ право на существованіе—до тѣхъ поръ, пока не разобьетъ себѣ лба о факты», то лобъ моей теоріи, слава Богу, остался цѣлъ, потому что и не было тѣхъ фактовъ, о которые онъ могъ бы разбиться. Во всякомъ случаъ, повторяю, всю отвътственность за свою статью я возлагаю исключительно на себя, а не на свою теорію.

Г. Ивановъ-Разумникъ нелогиченъ и въ концѣ своей рецензіи: тамъ, иронизируя надъ моими словами: «благочестивому сказанію о Бѣлинскомъ соотвѣтствуетъ, чтобы и другіе честно сказали о немъ свою правду», онъ заявляетъ о себѣ, что «тоже имѣетъ право «честно сказать свою правду»... ну хотя бы о современной турецкой литературъ, но пока отъ этого воздержится, такъ какъ «въ этомъ вопросъ ему еще надо сильно пополнить свои свѣдѣнія». Да? Въ такомъ случаъ, г. Ивановъ-Разумникъ ошибается: онъ не имѣетъ права говорить о турецкой литературъ.

Многіе оппоненты указывають на то, что я противорѣчу самому себѣ, когда въ концѣ своего этюда говорю: «и не легко все-таки отворачиваться и отъ того реальнаго человѣка, который имѣлъ же, значить, въ себѣ нѣчто большое, если могъ оставить послѣ себя такой прекрасный слѣдъ и сумѣлъ завѣщать своему имени такой лучистый ореолъ».

Здѣсь я, дѣйствительно, впалъ въ ошибку. Что не легко отворачиваться отъ Бѣлинскаго, это признаетъ каждый изъ моихъ противниковъ, и всѣ поймутъ психологію невольнаго разрушителя своихъ же цѣнностей. Естественно и то, что, придя къ безотраднымъ выводамъ о знаменитомъ критикѣ, я не могъ не спросить себя, почему же онъ знаменитъ,—нѣтъ вѣдь дыма

безъ огня. И вотъ здъсь, въ своемъ отвътъ, я быль неправъ: въ области духовныхъ явленій бываеть и безъ огня дымъ, и не всегда слава заслужена; мое значить въ приведенной выше фразъ, во всякомъ случаъ, не правомърно. Я только въ оправданіе себъ скажу, что, не найдя большого Бълинскаго въ его книгахъ, я подумаль, не шла ли оть него, просто какъ оть личности, какъ отъ «реальнаго человъка», нъкая нравственная сила, то излучение души, которое можеть само по себъ, помимо объективныхъ заслугъ, возжигать надъ именемъ ея обладателя посмертный ореолъ славы. Но теперь, еще разъ обдумавъ совокупность его писемъ (какъ извъстныхъ раньше, такъ и опубликованныхъ впервые), этихъ слъдовъ реальной жизни, я долженъ отъ своей мысли отказаться. По прежнему я считаю, что легенда Бълинскаго была дорога и плодотворна и что «журналисть, другъ и ревнитель книги», онъ литературную новинку, «новую книгу», возвель на степень событія, что онъ одинъ изъ первыхъ навсегда привилъ русскому обществу устойчивый интересъ къ русской литературъ и потребность разръзать послъдній выпускъ журнала. По прежнему, его исторической роли я не отрицаю. По прежнему, я понимаю красоту его идеализованнаго лица. Но въ реальномъ Бълинскомъ большого-то человъка именно и не было.

Мнѣ кажется, я исчерпаль всѣ фактическія указанія своихъ оппонентовъ. Читатели видять, должень ли я отказаться отъ своей характеристики Бѣлинскаго. Но я обѣщаль коснуться еще вопроса о томъ, соблюль ли я въ своемъ этюдѣ пропорціи, правильно ли распредѣлилъ свѣтъ и тѣни знаменитаго критика. Въ самомъ дѣлѣ: то, что я цитировалъ,—изъ Бѣлинскаго; то, что цитировали мои противники,—тоже изъ Бѣлинскаго: что же для него характернѣе, что его опредѣляетъ? Къ сожалѣнію, никто изъ рецензентовъ не высказался, принимаютъ ли они мои слова: «Въ пестромъ наслѣдіи его (Бѣлинскаго) сочиненій, въ ихъ диковинной амальгамѣ, вы можете найти все, что угодно,—

и все, что не угодно... На него нельзя опереться, его нельзя цитировать, потому что каждую цитату изъ Бълинскаго можно опрокинуть другою цитатой изъ Бълинскаго». Если мнъ позволять считать молчаніе знакомъ согласія, согласія со мною, то въдь это убійственно для Бълинскаго. Самый фактъ этой незаконной роскоши, самый фактъ двухъ мнъній о каждомъ предметъ свидътельствуетъ противъ расточительнаго владътеля такихъ противоръчій; передъ минусами невольно поблъднъютъ плюсы, дурное Бълинскаго бросаетъ свою губительную тънь на его хорошее.

Я учитываю его эстетическія заслуги, но сравниваю ихъ съ его эстетическими гръхами. Я вспоминаю, напримъръ, его непростительное отношение къ Пушкину, его слова, что «сатира не можеть быть художественнымъ произведеніемъ» (исчезаеть цълое теченіе отъ Ювенала до Щедрина), его слова, что «фантастическое въ наше время можеть имъть мъсто только въ домахъ умалишенныхъ, а не въ литературъ, и находиться въ завъдываніи врачей, а не поэтовъ» (какой вандализмъ, какое разореніе литературы, если отнять отъ нея фантастику!); я вспоминаю, что «Германа и Доротею» онъ называлъ «отвратительной пошлостью» и не находилъ поэзіи въ «Божественной комедіи»; я въ душевномъ изнеможеніи думаю о томъ, что когда онъ стоялъ передъ Сикстинской Мадонной, то она показалась ему... сотте il faut-«idéal sublime du comme il faut»; я припоминаю ero мысль, что «о такихъ предметахъ, какъ живопись, теперь такъ странно читать.. длинныя статьи: такъ думаютъ многіе» (Письма, 111, 119); я отдаю себъ отчеть въ томъ, что восходившей въ его время звъзды Тютчева онъ не замътилъ: я вспоминаю и многое другое, о чемъ отчасти я уже писалъ въ своемъ силуэтъ, -и мнъ кажется тогда, что, отрицая виноватаго передъ Дантомъ, Гете, Рафаэлемъ, Пушкинымъ, отрицая Бълинскаго-эстетика, я пропорціи соблюдаю.

Я кладу на одну чашку въсовъ письмо къ Гоголю, а на другую—то, что этому письму предшествовало и что за нимъ

слъдовало, и... и я не знаю, какое же было у него общественное исповъданіе.

Я привътствую его философскія устремленія, по когда я думаю о томъ, что обычная и естественная эволюція ведеть людей отъ матеріалистическаго отрочества, отъ наивнаго утилитаризма гимназическихъ дней—дальше и выше, а Бълинскій, разсудку вопреки, наперекоръ стихіямъ, продълалъ дорогу обратную и уронилъ ту истину глубокой мысли, которую онъ уже воспринялъ отъ нъмецкаго идеализма; когда я припоминаю, что философъ и критикъ Бълинскій былъ взрослымъ сначала, а дътство пережилъ потомъ,—я отказываюсь усматривать органичность въ его развитіи, я еще явственнъе вижу въ немъ Виссаріона-Отступника.

Мнъ очень нравятся его отдъльные афоризмы (примъры ихъ я привель въ своей статью; на меня въ его письмахъ произвели сильное впечатл'вніе такія строки, какъ, наприм'връ; «я солдатъ у Бога: Онъ командуетъ, я марширую»; или въ противоположномъ настроеніи явившійся ему смітлый образь Брамы: «наши мольбы, нашу благодарность и наши вопли-онъ слушаеть ихъ съ цигаркою во рту»; или эта върная мысль: «отъ Конта не пахнеть геніальностью»; или горькій вопль; «безсмертна одна смерть»; или тонкая критика нравственной теплицы-кружка, изъ котораго онъ долго не могъ вырваться на вольный воздухъ своей желанной «простоты»: «мы изъ грусти дълали какое-то занятіе и вели протоколы нашимъ ощущеньямъ и ощущеньицамъ». Но такъ велика его шаткость, его ненадежность, такъ много у него интеллектуальной черезполосицы, такъ перемежалъ онъ свое чужимъ, умное нелъпымъ, такъ опорочилъ онъ свое цънное своимъ дешевымъ, что даже тамъ, гдв онъ значителенъ, даже тамъ, гдъ онъ выступаетъ Шекспиромъ, во мнъ, иногда наперекоръ очевидности, зарождается соблазнъ бэконіанской теоріи.

И оттого, когда меня упрекають (особенно гг. Ч. В—скій и Бродскій), что я «сосчиталь на солнцъ пятна и проглядъль его лучи», сравнивають меня съ крыловскимъ любопытнымъ и напоминають мнъ собственныя мои слова. сказанныя по другому поводу: «сущность солнца не въ его пятнахъ», —то для меня ясно, что я и мои оппоненты разное значеніе, разный удѣльный вѣсъ придаемъ той или другой страницѣ Бѣлинскаго: что для нихъ второстепенно, то для меня важно; гдѣ для меня—суть Бѣлинскаго, тамъ для нихъ—подробности; даже и такъ бываетъ: что для нихъ—лучъ, то для меня—пятно, и наоборотъ. Объективное мѣрило для выбора намъ здѣсь трудно найти. Гдѣ именно настоящій Бѣлинскій, —кто докажетъ? Дѣло рѣшается скорѣе интуиціей, непосредственнымъ впечатлѣніемъ; оттого это дѣло и спорно; оттого г. Ляцкій и находить, что «постигать» Бѣлинскаго «нужно» не мыслью, а «чувствомъ».

И уже потому одному П. Н. Сакулинъ не имълъ права за мое отрицаніе Бълинскаго отлучать меня отъ русской культурной традиціи,—при всъхъ своихъ блужданіяхъ, неизмъримо шире она и либеральнъе, чъмъ самъ Бълинскій и его защитники...

## того же автора:

Зтюды о западныхъ писателяхъ. (Трагедіи Шекспира, Ибсенъ, Гамсунъ, Метерлинкъ, Роденбахъ, Уайльдъ, Бодлэръ). Съ 7-ю фотогр. портр. Изданіе «Научнаго Слова». Цѣна 1 руб. 80 кол.

Пушкинъ. (Общая характеристика и 15 этюдовъ объ отдѣльныхъ произведеніяхъ). Изд. «Научн. Слова». Цѣна 80 кон.

Силуэты русскихъ писателей.

Выпускъ I, нзданіе 4-ое (т-ва «Міръ»), съ 18-ю портрет. Ц. 2 р. 20 к. Выпускъ II, изд. 3-е, съ 14 порт. Ц. 1 р. 60 к. Выпускъ III, (послѣдній), изд. 2-ое, съ 20-ю портрет. Ц. 1 р. 75 к.

Во всіжъ трехъ выпускахъ Силуэтовъ, кроміз теоретическаго вступленія и приложеній, напечатаны карактеристики слівдующихъ писателей: Бізлинскій, Герценъ, Карамзинъ, Жуковскій, Батюшковъ, Крыловъ, Гриботьдовъ, Козловъ, Веневитиновъ, А. Одоевскій, Полежаевъ, Языковъ, Бенедиктовъ, Рылтьевъ, Ітушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Баратынскій, Тютчевъ, Кольцовъ, Никитинъ, Некрасовъ, Мей, Щербина, Майковъ, Феть, Полонскій, А. Толстой, Огаревъ, Плещеевъ, С. Аксаковъ, Л. Толстой, Достоевскій, Тургеневъ, Гончаровъ, Остроескій, Г. Успенскій, Левитовъ, Слівпцовъ, Помяловскій Гаршинъ, Короленко, Чеховъ, М. Горькій, Л. Андреевъ, И. Бунинъ, Минскій, Бальмонтъ, Сологубъ, В. Брюсовъ, Б. Зайцевъ, В. Гофматъ.

Первые два выпуска СИЛУЭТОВЪ удостоены Академіей Наукъ Пушкинскаго почетнаго отзыва.

Отдѣльныя страницы. Сборникъ педагогическихъ, философскихъ и литературныхъ статей. Выпуски 1 и 11. Изд. «Зари». Ц. по 1 р. 25 к. каждый выпускъ.

Посмертныя сочиненія Тоястого. Изд. «Энергіи». Цізна 45 коп.

20000000000

Цѣна 75 кол.